

18+

ВТОРНИК



Толстый зависимый* литературно-художественный журнал
* от дня недели и погоды

№ 11 август 2020



Игорь Михайлов

**Вторник. №11, август 2020.
Толстый, зависимый от дня
недели и погоды, литературно-
художественный журнал**

«Издательские решения»

Михайлов И.

Вторник. №11, август 2020. Толстый, зависимый от дня недели и погоды, литературно-художественный журнал / И. Михайлов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-513765-4

Тема номера: август Выход в свет в августе — это особый шик. Август — месяц царский. Основатель Римской империи — Октавиан Август. Марина Цветаева так опозитизировала август: Август — астры, Август — звезды, Август — грозди Винограда и рябины Ржавой — август! В августе всегда ждут катастрофу и дефолт. Но случается и хорошее. К примеру, очередной номер «Вторника». С чем мы вас всех и поздравляем!

ISBN 978-5-00-513765-4

© Михайлов И.
© Издательские решения

Содержание

ОТДЕЛ ПРОЗЫ	6
Саша КРУГОСВЕТОВ	6
Вечный эскорт	6
Игорь ЧЕРНИЦКИЙ	25
Приближение Марса	25
Михаил ТАРКОВСКИЙ	40
О Соловьёве	40
Геннадий СОЛОВЬЕВ	41
Пьянству бой!	41
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Вторник. №11, август 2020
Толстый, зависимый от дня
недели и погоды, литературно-
художественный журнал

Главный редактор Игорь Михайлов

Редактор Татьяна Соколова

Корректор Инна Тимохина

Главный художник Дмитрий Горяченков

ISBN 978-5-0051-3765-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ОТДЕЛ ПРОЗЫ

Саша КРУГОСВЕТОВ



Круговорот лиц, ощущений, жизненных обстоятельств выбрасывает на берег ундины? Кто она, что она: вечная женственность, любовь, судьба?

Вечный эскорт Главы из романа

(Продолжение, начало в №9, 10 за 2020 г.)

8

Душный августовский вечер тысяча восемьсот пятьдесят седьмого года.

Викторин – на перроне, в сопровождении двух тётушек, – наблюдает, как поезд, плюясь паром, близоруко ощупывая слабыми керосиновыми фонарями потерявшиеся в сумерках рельсы и, видимо, чертыхаясь, – кто их знает, о чём они думали, эти поезда и паровозы девятнадцатого века? – с громоханием приближается к платформе, скрипя, выпуская в подсвеченное закатом небо синевато-серый дым и сопровождая этот важный процесс сдержанным трезвучным гудением в ре миноре.



Вагон третьего класса звал лучшие времена. Он был в своё время вагоном первого класса, принимал блестящую публику, цвет нации, так сказать, – может, и сам будущий император Второй империи почтил когда-то его своим высокородным присутствием, – а нынче вышел в тираж, и администрация железной дороги распахнула его двери для самых обычных непритязательных пассажиров, покупающих билеты иногда на последние деньги.

Унылый люд, замученный долгой дорогой, ёрзал и покачивался на потёртых малиновых сиденьях: кто-то спал, кто-то глазел на потрескавшуюся краску раздражающе-жёлтой деревянной обшивки вагона и на мух, лениво ползающих по грязным стёклам окон. Газовый рожок на потолке, украшенный кокетливыми металлическими фестонами, выглядел здесь случайным гостем. В поезде разрешалось курить, дым висел под лампой неподвижной пеленой. Накопившаяся жаркая спёртость от дыхания переполнявших вагон людей дополнялась какофонией запахов от дешёвого вина, масляной жирной обертки, обглоданных косточек куриной грудки, яблочных огрызков под освежающую сурдинку эфиров апельсиновой кожуры. Проход был усеян всем этим композитным мусором и смятыми газетами *Фигаро*, *Пресс*, *Матен*, *Гвалт* и *Ле Монитёр*.

Викторин с гитарой в руке, в сопровождении двух тётушек и носильщика, нагруженного кутулями, узлами, коробочками и тяжёлым кофром, пробиралась вдоль прохода, лихорадочно соображая, будет ли прилично зажать нос, чтобы не вдыхать этот перепревший воздух, или постараться всё-таки перетерпеть. Они лавировали между вытянутыми ногами дремлющих пассажиров, пытаясь добраться до выгородки с двумя диванами в дальнем конце вагона – один из диванов оставался пока свободен, и там было бы удобно разместиться трём путешественникам.

Ей уже тринадцать, и это её первая поездка на поезде, да ещё не куда-нибудь, а в столицу Франции. Она была преисполнена радостного восторга перед встречей с Парижем, но эта вонь, эта непривычная для провинциалов духота... Двое коммивояжёров проводили внима-

тельным взглядом аппетитную, рано созревшую то ли девочку, то ли девушку, а какой-то бойкий мальчишка рванулся было ей вслед, но потом остановился и проорал для порядка: «Мамк, а мамк, глянь, гитара у девки! Эй, ты, *gonfler*, дай на гитаре поиграть!» Наверное, он кричал бы и дальше, если бы проснувшаяся мать не осадила его оплеухой.

Викторин и её спутницы устроились на свободные места, носильщик помог разместить их вещи и покинул вагон. Путь предстоял долгий, поезд доберётся до Парижа только к утру. Зажатая с двух сторон своими тётушками довольно крепкого телосложения, Викторин чувствовала, как по её шее, в ложбинку между плотно упакованных и вполне сформировавшихся грудей, а дальше – вниз к животу, стекали струйки пота. Со временем в вагоне стало прохладней. Викторин немного успокоилась, первое волнение улеглось и через час после начала поездки постепенно переросло в скуку.

Она принялась разглядывать других пассажиров. Молодая мать с красными руками прачки качала туго спелёнатого младенца. Мальчик-горбун уткнулся лицом в книжку. Плохо одетый старик со слезящимися глазами, красными веками и язвами пурпурного цвета вокруг рта дремал, и из его полуоткрытого рта тянулась вниз, на штаны, тонкая струйка слюны.

Напротив сидела прилично одетая женщина с девушкой примерно возраста Викторин. «Почему, интересно, эта девчонка так пристально смотрит на меня?» Викторин мысленно отметила её свежевыглаженный накрахмаленный воротничок и непроизвольно расправила складки на своей хлопчатобумажной юбке, опустила пониже рукава поношенной блузки, чтобы скрыть синяки на руках. Тётя Эвелина была скоро на расправу.

Тётки говорили о Викторин, обсуждали её будущее, говорили так, будто её здесь нет или, возможно, она уже стала стопроцентной парижанкой, абсолютно не понимающей их эльзасского диалекта.

– Эх, был бы жив мой брат, хорошим он был гравёром, да и зарабатывал неплохо. Не было бы проблем с этой, да и нам в Страсбург деньги бы присылал. Жан-Луи всегда помогал сестрам. Но, вишь, как получилось – после смерти Луизы-Терезы, он и сам долго не протянул. Говорят, любил её очень, – задумчиво сказала тётя Эвелина.

– А брат Луизы-Терезы – скульптор, тоже небедным слыл человеком. Вполне мог бы взять на себя заботы о девчонке. Твой дядя, между прочим, – добавила тётя Грета, обратившись неожиданно к Викторин.

– И не говори, сестричка. Никого нет, все как сговорились. Раз – и ушли в одночасье, прости Господи мои прегрешения. Девчонку на нас с тобой повесили, будто у нас без неё мало забот.

– Всё уже позади. Доедем до Парижа, вот и избавимся от нахлебницы. Да ещё и денег получим от будущего её хозяина. А то что, зря мы, что ли, больше десяти лет тащили на себе эту обузу?

– Пусть теперь это будет его головной болью, – хихикнула тётя Эвелина.

– Где я буду жить в Париже, тётушка? – спросила Викторин.

Тётки, как всегда, будто не услышали её вопроса и непринуждённо продолжали свою болтовню.

– С кем я буду жить, вы можете мне сказать?

Вместо ответа, тётя Эвелина больно ущипнула её за руку, Викторин заплакала.

– Хватит задавать глупые вопросы. Отправишься туда, куда скажут.

– Мне просто хотелось знать, смогу ли я учиться...



Она ещё не знала, что тётки уже договорились продать её месье Кею и Викторин останется у него присматривать за его детьми. Она не знала, что месье Кей пообещает продолжить её образование и научит её многому: прежде всего, тем вещам, которые не должна знать девочка в её возрасте. Это будет началом пресловутой школы жизни. Из дома Кея она вынесет твёрдое правило: никому нельзя доверять. У неё будут ещё и другие «настоящие парижские учителя», и на память о себе один из них оставит грубый неровный шрам на левой щеке Викторин. Она не представляла, что ждёт её, но отчётливо понимала: сейчас она просто болтается на сиденье между двумя тётками, наподобие ненужного тяжёлого кофра без ручек. Кончики пальцев нащупали то место на лице, где в недалёком будущем появится неровный шрам, рассеяно погладили его – есть, видимо, какие-то органы чувств, которые позволяют временами предвидеть собственную судьбу.

Ещё один шипок вернул её в реальность.

– Тебя кормили, о тебе заботились все эти годы, разве ты не знаешь об этом? С самого дня рождения. Ну, не с самого рождения, с младенческих лет. У доминиканских сестёр целых семь лет отучилась, мало тебе, что ли? Бесплатно, причём. И то, если бы не сама мать-настоятельница...

Викторин промолчала. Она понимала, это никак не могло быть заслугой тёти Эвелины. Та подрабатывала прачкой в школе-интернате у сестёр доминиканского ордена, брала маленькую племянницу с собой на работу в те дни, когда тёткин сожитель отсыпался с похмелья. Эвелина прятала племянницу под столом с бельём в прачечной и требовала сидеть там «тихо, как мышь», чтобы её не обнаружила мать-настоятельница. Тем не менее мать-настоятельница однажды-таки нашла её. И это оказалось несомненной удачей, поскольку Викторин понравилась монахине, и та позволила малышке учиться у них.

– Смотри, какая ты выросла кобылица, – продолжала тётя Эвелина. – Сиськи-то, сиськи. Где это видано, чтобы у девчонки такие груди были. И задница... Не задница, а настоящая

корма. Вот куда все наши денежки улетали. И потом, Грета, она всё время крутит пердаком, того и гляди, совратит моего Гансика.

– Неправда, он сам мне прохода не даёт, когда вы на работе бываете, тётушка, пристаёт и угрожает, что побьёт, если не соглашусь.

– Молчи, негодница, нечего на мужика наговаривать, знаю я тебя, за тобой глаз да глаз. Спасибо тётушке Грете, она всегда начеку, если бы не она, давно бы ты нам уже в подоле подарочек принесла – или от моего Ганса, или от того прыщавого мальчишки, который продукты возит от молочника и зеленщика.

– Что вы такое говорите, тётушка!? Вам только бы меня обругать...

– А кто тебе гитару купил и научил играть, разве не я? – неблагодарная ты *la petite bitch*.

– Мне гитару Кларис, мать-настоятельница подарила, а основные аккорды тётушка Грета показала. Вовсе и не вы. А играть я сама научилась и песни подбирать – тоже сама. Потому что у меня дома все весёлые были, пели и играли – *et papa et maman. Même un oncle*.

– Что ты можешь помнить, *morveux*? – взвизгнула тётя Эвелина и опять ущипнула Викторин. – Тебе и года не было, когда умерла Луиза-Тереза. А вскоре и Жан-Луи не стало.

– В общем, так, – прервала их тётя Грета. – Успокойтесь вы обе, и хватит пререкаться. А тебе, Викторин, пора браться за ум. Ты уже взрослая. И мы везём тебя не куда-нибудь, а в Париж. Теперь ты сама должна учиться отвечать за себя, и для всех будет лучше, если ты научишься выживать самостоятельно. Назад мы тебя уже не примем, даже и не мечтай.

Девушка, сидевшая напротив, внимательно слушала их разговор и с усмешкой наблюдала за своей сверстницей.

«Я своё место в жизни сумею найти, что бы они обо мне ни говорили, – подумала Викторин и с вызовом посмотрела на соседку и тётушек. – Сделаю для этого всё, что потребуется, и даже больше того. Вы же не знаете, как на меня богатые господа засматриваются, не только ваш гугнявый Ганс, от которого вечно перегаром несёт, не только прыщавый мальчишка-посыльный. Важные и богатые господа... В глаза заглядывают, в разрез блузки, поговорить хотят, за талию приобнять... А я находчивая, за словом в карман не полезу – кому улыбнусь, а кого и отбрею. Вы тут дружно меня презираете, а я, вот увидите, сумею покорить этот ваш неприступный Париж. Да, простая французская девчонка, да, не самая что ни на есть красавица, что с того? Немцы говорят: „*Die Hölle ist nicht so heiss, wie man sie macht*“, а французы по-другому: „*Chacun est l'artisan de son Bonheur*“. Наизнанку вывернусь – Париж, столица мира, и все его жители будут у моих ног. Только не надо оглядываться назад, вперёд, только вперёд, придёт время, и я навсегда забуду обо всех вас».

Через пару часов женщина и девушка, сверстница Викторин, прибыли на свою станцию. Викторин поставила гитару в уголок освободившегося дивана.

Между тем в вагон вкатилась странная пара. Женщина-обрубок (короткие толстые ножки и огромная голова) и мужчина с неровно обстриженными седыми волосами, в лице которого жутковато сочетались черты старика и ребёнка. Оба плюхнулись на свободные сиденья напротив. Женщина прикрыла глаза.

Викторин после некоторого колебания спросила: «Вам не мешает моя гитара?» Карлица дёрнулась как от укола иголкой и выдавила из себя подобие улыбки. «Чего ей и не постоять здесь, кушать-то не просит», – ответила она и довольно бесцеремонно схватила мужчину за шиворот, отодвинула его подальше от гитары, а тот упорно продолжал смотреть в окно и даже не оглянулся.

Викторин поблагодарила, достала из кофра старый номер *Фигаро*, который попадал в восточную провинцию Франции с почти недельным запозданием, разложила на коленях и стала листать. Она старалась не пропустить ни одной газеты, и внимательно следила за всеми парижскими новостями. Свет в вагоне был тусклый, и, возможно, поэтому читать совсем

не хотелось. Тётушки притихли – то ли утомились перемывать косточки Викторин, то ли их смущали необычные соседи.

Вагон качнуло, зашипел паровоз, отфыркиваясь паром, и мимо медленно поплыли расплывчатые огни, постепенно растворяясь в темноте.

Тётки о чём-то пошептались, затем дружно встали: «Пойдём кондуктора искать, говорят, теперь в поездах чай дают. А ты здесь оставайся. И не вздумай никуда отлучаться да за вещами следи хорошенько». Они заковыляли по проходу. Викторин заметила, что тётушки украдкой прихватили с собой мешочек с бутылкой эльзасского красного местного разлива. Карлица тоже, наверное, заметила.

– Мы здесь проездом, – произнесла она. – Какая всё-таки дыра; интересно, как тут люди живут? Далеко ли до города?

– Совсем недалеко, одно лье, не больше.

– А ты-то, откуда знаешь, милая? Получается, ты отсюда, что ли?

– Да нет. Мы из Эльзаса, – Викторин объяснила, что едет с тётушками в Париж, но предвительно хорошо изучила дорогу.

А едет она, чтобы продолжить образование. Хотела бы в балетную школу поступить. Если повезёт, то она станет со временем актрисой. Но Викторин не сказала о том, что ей неизвестно, где она будет жить и чем ей придется заниматься на самом деле. Тщательно обдумав услышанное, карлица глубокомысленно произнесла:

– На кого ж тебя, милая, учить-то будут, на балерину, что ли? Вообще-то ты крепенькая, есть на что посмотреть. Или, может, на девицу лёгкого поведения? Ой, не знаю, не знаю! Я сама-то, милая, учёная-переучённая, ты себе даже представить не можешь. Но в Париже пока ещё ни разу не училась.

Викторин невнятно пробормотала положенные в таких случаях формулы вежливости и вновь открыла газету, чтобы не продолжать бессмысленный разговор. Так и сидела, тупо уставясь в какое-то дурацкое объявление о смерти господина Дюмонжо, пока кто-то легонько не постучал по её коленке.

– В Париже дочитаешь, отроковица, а мне бы поговорить надобно. Этот-то мой, с ним никак не поговоришь, глухой он, и немой тоже, понятно тебе это?

Викторин сложила газету и впервые внимательно посмотрела на попутчицу. Той было лет пятьдесят, может, и больше. Ноги не доставали до пола, выпуклые, водянистые глаза смотрели в разные стороны, большие щёки рдели румянами. Ярко рыжие крашенные волосы свисали бесформенными колбасками. Голубое, не первой свежести платье распиралось изнутри необъятной грудью. Когда-то модная шляпа невероятных размеров – «Модель Памела, по имени героини романа Ричардсона „Памела, или Вознаграждённая добродетель“», – отметила про себя Викторин, которая старалась по возможности следить за парижскими новинками, – съехала набок, и хозяйка время от времени отбивала рукой падавшие с полей на глаза потускневшие тряпочные цветы и натуральные фрукты – небольшие румяные яблочки и африканские лаймы не первой свежести, дряблые и изрядно потерявшие былую привлекательность. От попутчицы заметно пахло сидром.

– Ты, может, не хочешь со мной разговаривать, милая? Так и скажи.

– Да нет, я с удовольствием.

– Ещё бы. Кто бы отказался поговорить с таким человеком, как я? Просто страсть как люблю поезда, здесь ничего не утаишь, говори как на духу. А вот в omnibusе все молчат, будто в рот воды набрали. Хорошо, что эти места на отшибе оказались. Кажется, будто мы едем в вагоне первого класса, верно? – голос был весёлый, низкий и с приятной хрипотцой.

– Здесь хорошо. Спасибо, что разрешили, чтобы гитара осталась на вашем диване.

– С превеликим удовольствием. У нас с ним, – она указала на своего спутника, – компаний не водится – он людям на нервы действует!

Будто в подтверждение этому мужчина издал булькающий звук и схватил её за руку.

– Не тронь меня, миленький. Веди себя хорошо, а то девочка симпатичная такая уйдёт от нас. Она учёная, в Париж образовываться едет.

Мужчина вжался в сиденье, склонил голову к левому плечу и, скосив небольшие мутные голубые глазки-пуговички в обрамлении странно красивых женских ресниц, пристально рассматривал Викторин. А та рассматривала голое, безволосое, розовое лицо человека, неспособного, очевидно, испытывать какие-либо чувства, кроме безразличия. Магически состаренный ребёнок в затёртом костюме из синей диагонали – из такого материала обычно шьют рабочую одежду, – в грубых ботинках на толстой подошве, с грошовыми часами на медной цепочке, надушенный отвратительной *Eau de Cologne*, с неровной седой чёлкой на лбу.

– Ему неловко, что я пьяная. А я и есть пьяная. Чего стыдиться? Чем-то надо убить время, – карлица приблизила лицо к Викторин. – Правильно я говорю, дочка?

Немой продолжал беззастенчиво рассматривать Викторин, ей было неприятно, но она не могла отвести взгляд от этого голого невыразительного лица.

– Вот, ты согласна, я вижу.

Женщина достала из сумки бутылку вина, вытащила пробку и вдруг спохватилась:

– Ой, я же про тебя забыла.

– Нет-нет, я не пью.

– Ладно, разберёмся. Схожу к кондуктору, разживусь парой стекляшек.

Карлица встала, рыгнула так, чтобы все услышали, – да, я такая! – и нетвердой походкой с бутылкой в руке удалилась в размытую испарениями пропасть вагонного прохода.

Хотелось спать, Викторин зевнула, взяла гитару и, коснувшись лбом оконного стекла, стала перебирать струны. Холодный диск луны катился рядом и тоже, казалось, засыпал, убаюканный мерным стуком колёс и пустым бездушным треньканьем.

Мужчина неожиданно протянул руку и нежно погладил Викторин по щеке. Она растерялась, не зная, как реагировать на такую наглость, а он наклонялся к ней всё ближе и ближе, пока их глаза не оказались совсем рядом. Струны смолкли. Сердце у Викторин упало и замерло. Станный взгляд! Неужели она испытывала жалость к этому человеку? Нет, что-то было в мужчине скользкое, омерзительное, напоминающее о каком-то неясном чувстве, которое она раньше уже испытывала. Где она могла раньше такое видеть?

Рука торжественно опустилась, убогий глухонемой вновь вжался в сиденье, он был счастлив, он ждал аплодисментов после своего сальто-мортале, и на его лице от уха до уха расплывалась улыбка клоуна-имбецила.

Открылась дальняя дверь, в вагон ворвался свежий воздух – впереди него зашелестел коридорный мусор, – появилась страшноватая соседка с бутылкой и стаканами.

– «Кто не видывал Резвушки? Есть ли девушка славней? И красотки, и дурнушки спасовали перед ней. Тра-ла-ла... У девчонки лишь юбчонка за душою и была...» – распевала карлица. Просеменив вдоль прохода, она рухнула на сиденье. – Уффф, как я устала! Кумпол так и гудит! Зато вот – добыла два стакана. И твоих тётушек видала... Что-то они сюда не торопятся. Ну, тем лучше, нам и без них хорошо, правда, милая? Мы и без них выпьем, правда, дорогая? Да будешь, будешь, куда ты денешься? – она зашлась в приступе кашля, а когда оклемалась, погладила себя по груди и животу и заговорила уже спокойно и умиротворённо. – Ну, как вёл себя наш лыцарь? О, ты играла ему, похвально, похвально!

Было уже за полночь. Где-то спорили о том, когда лучше было жить – при республике или при императоре, кто-то в дальнем конце вагона тихо поигрывал на гармошке – откуда она взялась, из Германии, что ли? – всхрапывал заснувший старик со слезящимися глазами. Вскрикнул во сне ребёнок.

Викторин согласилась сыграть и спеть, лишь бы не говорить больше о выпивке.

Зима, метель, и в крупных хлопьях
При сильном ветре снег валит.
У входа в храм, одна, в отрепьях,
Старушка нищая стоит...

– Хорошая песня. И неплохо, что ты её поешь. Чувство всегда возьмет своё. Кто музыку-то написал, поляк какой-то? Не люблю поляков. Вот заносишься ты, а сама не можешь понять того, что поёшь про свою судьбу. Так ведь и кончишь в отрепьях. Лучше уж пей. Знаешь, что – я не люблю таких людей, которые портят другим настроение. Держи стакан, говорю, такая молодая, а нервы никуда. Вот у меня *le problème, certaines contraintes et hics...*

– Послушайте, я же...

– Так-так. А кто я такая, по-твоему, грязь подмётная, что ли? – карлица усмехнулась.

– Поймите меня правильно, – тихо сказала Викторин, и голос у неё дрожал. – Пусть лучше выпьет этот господин.

– Нет уж, у него мозгов и так как писька у цыплёнка. Видела хоть раз письку у цыплёнка? Вот то-то. Что есть у него, то пусть и останется, пригодится ещё. Тебе бы поосмотрительней быть, можешь ведь и ошибиться, – выговаривала ей карлица, мотая ужасной своей головой. – Узнала бы попервоначалу, кто мы такие. Мы же не какие-нибудь, кого на помойке нашли, промашечка вышла. Ладно, милая поехали, – и женщина разом выпила стакан.

– Б-б-б... Ты вот из Эльзаса, я там тоже была, точн-точн, – продолжала она. – В Страсбурге квартиру держала – рядом ещё церковь Святого Фомы, – ко мне играть в карты, знаешь, какие господа приходили важные. Тебе и не снилось. Ещё гадала.

Карлица в два приёма прикончила бутылку и попыталась поставить её на пол. Бутылка качнулась, упала и медленно покатила по проходу. Женщина вновь протяжно рыгнула:

– Ах, хорошо, благородная отрыжка, а ты что думала? Я сама-то из Монпелье. Папашка лошадей там разводил, богатый был. Нам, детям, всё лучшее из Парижа. Дом – будьте-нате, у тёток твоих, небось, никогда такого и в помине не было, а они туда же – фу-ты, ну-ты. «Уж пожить умела я! Где ты, юность знойная? Ручка моя белая! Ножка моя стройная!»

Викторин мутило от отвращения, ни минуты больше она не могла выносить этих двоих – карлицу и убогого.

– А теперь, если вы не возражаете, я, пожалуй, пойду. Мне было очень приятно, но я обещала подойти к тётушкам через полчаса. Они ждут меня у кондуктора.

С кошачьей ловкостью карлица поймала её руку.

– А тебе бабушка не говорила, что врать – страшный грех? – прошипела она и ещё сильнее вцепилась в запястье Викторин. – Садись, садись, милая, нечего сиськами трясти. Никакие тётки тебя не ждут, не нужна ты им. Да и не тётки они тебе вовсе, уж ты поверь мне. Мы с лыцарем – единственные здесь твои друзья, как же мы можем тебя предать? Мы своих не предаём. Так что никуда мы тебя и не отпустим.

– Что вы такое говорите? Мне ведь попадёт, если я не приду к ним.

Шляпа с фруктами слетела с головы карлицы, но та только облизнула пересохшие губы.

– Садись, милая, не рыпайся. А вот тебе, маленький, я как раз сигаретку припасла, мне по дороге один добрый англичанин подарил.

Мужчина закурил, ещё плотнее вжался в диван и из его угла поплыли кольца дыма. Большое кольцо поднималось и расширялось ещё больше, а он пускал новые, маленькие, так, чтобы они прошли внутри большого и обогнали его.

– Неужели ты обидишь этого несчастного, милая? Неужели возьмёшь и уйдёшь? – ворковала карлица. – Садись, дорогуша, – молодец. Умница, умница. И собой хороша, и поёшь складно...

Её голос растворился в громогласном гудке паровоза, потом гудок сменили уханье и грохот встречного поезда. Убегающие назад окна замелькали в темноте жёлтыми пятнами; огонёк сигареты продолжал дрожать недалеко от губ мужчины, дымные кольца медленно поднимались к потолку. И вновь взревел прощальный гудок.

Гармошка выдохнула и замолчала. Ребёнок отчаянно запищал. Бутылка продолжала кататься по проходу и позванивать. Послышалась чья-то сонная ругань.

Викторин посмотрела на запястье – от жестких пальцев карлицы остались красные пятна. Она не сердилась. Просто у неё в голове не укладывалось поведение этих двоих попутчиков. Все происходящее вызывало оторопь. Карлица и немой загадочно молчали. Женщина порылась в сумке и достала оттуда пожелтевшую, всю в разводах, бумажную трубку и торжественно развернула её перед лицом Викторин:

– Вот глянь-ка на это. Поосмотрительней теперь будешь. Глаза-то разуй.

На афише готическими буквами было написано:

**ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ СЫН НАИНСКОЙ ВДОВЫ
ВОЗРОЖДЕНИЕ ФЕНИКСА**

Каждый может проверить

Цена 20 сантимов

Для детей 10 сантимов

– Знаешь, какое у нас представление? Самое лучшее! Я – вся в чёрном, с вуалью, он в чёрном, как жених, на лице толстым слоем пудра, я пою псалмы, читаю молитвы, все кругом голоса, плачут. Есть и нехристи, которые смеются, насмеваются, а однажды полицейский сунулся, подлец такой, всё-то ему надо было проверить-перепроверить...

«Ну, хватит, с меня довольно», – подумала Викторин. Она вспомнила, наконец, кого напоминало ей лицо глухонемого. Увидела совсем рядом с собой лицо дяди, брата её матери, – мёртвое лицо. Она была ещё совсем маленькой, когда хоронили дядю. Тогда это не произвело на неё впечатления – она дядю почти не знала. А сейчас поняла, что общего в лицах дяди и этого её попутчика: оба – лица забальзамированных мумий, вокруг которых волнами распространяются тишина и ледяной холод.

Карлица всё говорила и говорила о том, как они это всё устраивают, как собирают людей, как кладут в гроб «сына наинской вдовы», как его везут, как прощаются с ним, как закрывают крышку гроба – «нет, нет, ничего не хочу слышать, не надо мне это знать, ничего этого мне знать не надо!».

– Не поняла, что вы сказали! – очнулась Викторин.

– Сказала, что работёнка у нас будь здоров, денежки – ой, как непросто достаются. За прошлый месяц заработали, знаешь, сколько? Не знаешь, – попутчица задрала подол и смачно высморкалась в край нижней юбки. – Ничего-то ты не знаешь. Весь месяц пахали, а заработали двадцать три франка! Попробуй-ка проживи на такие деньги. Наше представление немало стоит – и витрина, и гроб, и карета, и музыка, – ещё раз высморкалась, торжественно поправила юбку и, словно королева, важно покрутила головой. – А ты хоть понимаешь, сколько времени он остаётся захороненным? Целый час, а то и больше. Сколько часов на витрине лежит без движения, сам себя гипнотизирует? Вот так когда-нибудь и помрёт мальчишечка, отдаст Богу душу, а все скажут, что это тоже просто видимость, один обман.

Мужчина вытащил из кармана гладкий, отполированный камешек с дыркой посередине, показал его Викторин и, убедившись в её внимании, стал катать камешек между пальцами, тискать, ласкать, большим пальцем жеманно тереть вход в отверстие, и смотрел, внимательно смотрел прямо в глаза Викторин, широко распахнув свои бессмысленные глазки.

– Чего глядишь, дочка? Оберег от порчи, камень приворотный, чего тут непонятного может быть? Купишь – и любовь твоя, что проще-то?

– Мне один путешественник из России сказал, что у них такой камень называется «куриное божество», – ответила Викторин. – Охраняет кур от сглаза.

Убогий тем временем начал тереть камень о брюки – вначале по бедру, потом камень медленно-медленно переполз ему между ног. Немой склонил голову набок, грустно и умоляюще смотрел на девушку, губы его отворились, и показался розовый кончик языка. Потом он поднёс камень ко рту и, вытянув трубочкой губы, стал его сосать, как леденец.

– Разве вы не знаете, что амулеты не охраняют вовсе, а, наоборот, приносят несчастья? Да что же это такое? Ну, пожалуйста... Да попросите же вы его прекратить это безобразие, это непристойно, на это просто невозможно смотреть.

– Чего это ты заметалась? – ответила карлица нарочито скучным голосом. Лицо её было спокойно, сама между тем – как натянутая струна: ходуном ходили пухлые ножонки, руки перебирали то жирные кудельки волос, то сморщенные лаймы на шляпе. – Он не кусается!

– Послушайте вы, наинская вдова, или как вас там, пусть он перестанет, меня сейчас вытошнит.

– Вот как ты заговорила. А ещё образованная. Возьми сама ему и скажи, я-то что могу сделать? – наинская вдова подняла плечи. – Денежки-то у тебя. Купи. Он и просит-то пятьдесят сантимов. Разве любовь купишь где за такую малость? Нет денег, говоришь? А что в Париже делать будешь без денег, милая?

Женщина испустила театральный вздох, смиренно прикрыла веки. Немой внезапно успокоился, его рука подползла к руке карлицы и пожала её.

Викторин вскочила и вылетела из вагона на площадку. Её сжал ледяной ночной холод – ужас, околеть можно. Хорошо, что есть шарф – закутала им шею и голову.

Она никогда прежде не бывала в этих местах, но все казалось ей странно знакомым. Будто она это когда-то уже видела.

Совсем не похоже на Францию, одни ели и сосны. Ели стоят сплошными отвесными стенами вдоль широкой аллеи железной дороги. В свете от окон вагонов видна трава, почему она совсем свежая, зелёная? В августе трава бывает обычно жёлтой, высохшей, обожжённой солнцем. А здесь такая тонкая, длинная, мягкая, будто шёлковая. Она что-то такое читала. А звёзды, какие большие! Огромные, мерцающие, совсем чужие, и причудливые, как в калейдоскопе, узоры. Ну да, это готические рисунки, будто резьба на стенах соборов. Что за звуки диковинные, чей это шёпот, кто это говорит, почему язык ей не знаком?

Из памяти сами собой выплывали странные слова. «Мэтр Захариус был знаменитым мастером часовых дел, а его часы высоко ценились во многих странах. Женевские часовые мастера злословили, что он продал душу дьяволу, а мастер утверждал, что если Бог создал вечность, то он создал время. А потом с ним приключилось странное событие. Все часы, сделанные им, пришли в полное расстройство. А его здоровье стало таять прямо на глазах, словно они были соединены незримой нитью...» Откуда выскочили эти странные слова и что они означали? Викторин скорчилась от напряжения, всё это становилось невыносимым.

Наверху, в сине-фиолетовом небе, мерцали, будто ненастоящие, звёзды – гасли и вновь разгорались. Замороженный дым длинными кусками ваты плыл над поездом. Керосиновая лампа на площадке подсвечивала всё желтым неровным светом, а тени получались почему-то красноватыми. Поскорей бы уже вернулись тётушки.

Холод обручем стягивал голову, хотелось вернуться в вагонное тепло, уснуть и забыть об этом наваждении. Но нет, сейчас это никак невозможно. И не надо притворяться, что она не понимает, что всё-таки происходит. «Мы сейчас в поезде. Едем в Париж. Завтра, наверное, будем в Париже, – громко сказала она. – Мне тринадцать лет, а весной будет четырнадцать. Я уже почти девушка, очень интересная девушка. Я многое знаю и умею, а в Париже узнаю ещё больше».

Она осматривалась в темноте, искала признаки утренней зари, но взгляд неизменно наталкивался на плотные стены леса с двух сторон дороги и на льдистый диск луны. «Как же я ненавижу его, какой он ужасный... Нет, что я говорю? Я всё-таки совсем-совсем глупая». Викторин встала перед лампой на колени, грела озябшие пальцы, руки казались прозрачными и светились красным, тепло медленно ползло вверх, согревало локти, поднималось к плечам, шее, груди; она слишком устала, у неё не было сил, чтобы признаться, что она испугалась этого убогого немого.

Он же между тем давно стоял у неё за спиной – безучастный, словно манекен, безвольно свесив руки вдоль туловища и опустив голову. В какой-то момент она поняла это, но ей ещё потребовалось некоторое время, чтобы обернуться. Викторин встрепенулась и с вызовом посмотрела прямо в его плоское, безобидное, ничего не выражающее лицо.

И тут до неё дошло, отчего она испугалась. Она вспомнила детство и ужас, который когда-то нависал над ней, как сейчас нависают эти две тёмные глухие стены с двух сторон этой кошмарной, фантастической дороги в никуда, дороги, конца которой не видно, дороги, две линии которой упираются во мрак и сходятся в крошечной темноте, в точке, где никогда не бывает рассвета.

Тогда, в детстве, над ней нависали такие же тёмные ночные бастионы деревьев. Они шептали ей что-то. А тётки, поварихи, гости – все наперебой рассказывали Викторин про смерть, про привидения, про духов, которые приходят по ночам, чтобы забрать детей к себе в чёрную преисподнюю.

Гости, однажды приехавшие к тёткам из Южной Америки, поведали детям о призрачном корабле «Калеуче» с чёрными парусами. Там, на «Калеуче», нечистая сила живёт, а палуба блестит, словно мокрая рыба чешуя. Днём корабль прячется в подводном котловане. Ночью появляется в мерцающем свете красных фонарей, которые держат ведьмаки и матросы-оборотни. Оборотни – страшилища, у каждого одна нога за спину заброшена и вокруг шеи обернута. Лицо каждого назад обращено, к тёмному прошлому.

Гости также рассказывали, что можно лечить детей от страха настоем воды-водяницы. Лекарство надо готовить из толчёного кусочка рога Камауэто-единорога. Кому дадут воду-водяницу, у того кожа тёмными пятнами пойдёт, а характер станет невозможным, злобным, задиристым.

О чём только не говорили гости! И о русалке Пинкойе, красавице со светлыми волосами, которые она расчёсывает золотым гребнем. О карлике Трауке, лесном бесе. На голове карлика – колпак. Вместо глаз – две бусинки. Он подстерегает детей в лесных чащобах. О чудище пещерном, что выросло без отца, без матери. Вскормила его чёрная кошка. Начальником чудище над всеми ведьмаками поставлено. Выйдет оно из пещеры при луне, прикажет ведьмакам – и несутся те по белу свету, по морю, по горам, на всё живое порчу наводят, злые козни строят. Ест чудище пещерное только мертвецов. Указывает ведьмакам, где и когда творить зло. Судьбу угадывает. Знает, кто к кому хочет прийти. Тёмной ночью услышишь стоны – затворяй окна и двери, не то жди беды. Кто встретит чудище, умом тронется со страху: только водой-водяницей и можно его отпоить. Так что далеко не ходи, детка, матрос-оборотень найдёт, русалка под воду затянет, ведьмак поймает, карлик-колдун живьём съест, чудище пещерное увидишь – головой тронешься. Всюду нежить. Ночью залезешь с головой под одеяло – ой-е-ей! А если это он, злой колдун, стучит в окно?

Викторин выпрямилась, глубоко вздохнула – чур меня, чур, нечистая сила! Немой кланялся, кланялся, указывал рукой на дверь.

В вагоне спали все, кроме карлицы. Та сидела как мумия и даже не взглянула на вошедшую Викторин. Немой втиснулся в угол, как-то неловко перекрутив ноги и неестественно заломив гибкие руки за голову.

Викторин постаралась как можно небрежней опуститься на своё место и упёрлась взглядом в газету. Конечно, этот убогий неотрывно смотрит на неё немигающим взглядом. Хотелось закричать, разбудить кого-то, позвать на помощь. А если её не услышат? Вдруг они все заодно, вдруг они всё знают и не спят, а только делают вид? Нетопыри и чудища! Слезы постепенно наполняли её глаза, рисунок в газете – она так и не поняла, что же там изображено? – увеличился в размере, линии становились размытыми и расплывчатыми, рисунок закрыл постепенно весь газетный разворот и превратился в огромное туманное пятно.

– Хорошо, пусть будет по-вашему, – сказала она каким-то вялым, будто не своим голосом. – У меня есть пятьдесят сантимов. Что вам ещё от меня надо?

Никто ей не ответил. На лицах обоих её спутников отразилась только холодная скука. Она смотрела на него. Лицо его превращалось в светло-серый булыжник, колебалось, уплывало куда-то вглубь. Она закрыла своё лицо шарфом.

– Чуть-чуть позже, только вздремну немного. Я дам вам пятьдесят сантимов, и мы вместе пойдём ловить Камаэто. Он всем нам принесёт счастье.

Тёплая волна захлестнула её, понесла по жёлтому песку. Она смутно чувствовала, что чья-то рука шарит по её ноге. Ей представилась кривая улыбка на лице клоуна. Ну и пусть, от меня не убудет. Неужели я так легко оттолкну этого несчастного, этого Богом обиженного него? Потом внезапно всё переменялось. Рука исчезла, мощное бедро тётушки Эвелины притиснуло её к стенке, и Викторин окончательно провалилась в тёплую черноту.

Когда она проснулась, было уже совсем светло, поезд весело стучал колесами на стыках рельс в предместьях Парижа. Тётушки приводили себя в порядок. «Просыпайся, недотепа, скоро *Gare de L'Est*». Как ты выглядишь?

Карлицы и него не было.

– Вышли пару часов назад, хотели с тобой попрощаться, но мы не разрешили им тебя будить. Что за отвратительная пара!

«Хоть в чём-то мы с тётушками сходимся, – подумала Викторин. – Эти попутчики, этот вагон, эта дорога, какое ужасное наваждение! Надо всё забыть. Просто кусок прошлой жизни, которая уже закончилась. За-кон-чи-лась! Поезд прибывает в Париж, начинается новая жизнь. Каждый день всё сызнава. Скоро не будет и тётушек, они побудут пару дней и уедут домой. И останутся только двое: я и Париж. Держись, Викторин, жизнь только начинается. Виктория – значит, победа. Тебя ждут блестящие победы».

Девушка заметила на подоконнике маленький камешек. «На самом деле, если разобаться, ничего плохого они мне не сделали, вон и оберег оставили. Оставили для меня. Раз без денег, значит, подарили. Пустяк, а приятно. Что же это я ночью оказалась такой трусихой и совершеннейшей дурой? На меня это совсем не похоже, – Викторин украдкой взяла морскую гальку с дырочкой посередине и спрятала в сумочку. – Может быть, „куриное божество“ действительно принесёт мне удачу в любви? А что эта карлица болтала о моих тётушках? В моей деревушке тоже почему-то трепались, будто тётушки ненастоящие. Может, и не настоящие. Но щиплетса тётя Эвелина вполне по-настоящему, все руки в синяках».

Пробившись сквозь толпу на вокзале, они вышли через высокие стеклянные двери и остановились на вершине белой мраморной лестницы напротив бульвара дю Страсбург. Боже, какая красота!

Викторин обратила внимание на нищенку, рывшуюся в мусорных ящиках. Заметив взгляд девушки, бродяжка, шатаясь, поднялась по ступенькам и дернула её за юбку грязной рукой: «Дайте хоть несколько сантимов, мадемуазель!» Та никогда не видела ничего подобного в своей маленькой эльзасской деревеньке и с ужасом отшатнулась от старухи. Носильщик отогнал прочь нищенку и сказал, что здесь, в Париже, её все знают, что раньше её звали *Королевой Мабиль*.

– Она была куртизанкой. Удивительной красавицей... А начинала на балах Мабилль. Вы знаете, что такое балы Мабилль, мадемуазель? Не знаете? Может, это и к лучшему! Рано вам думать о таких балах. Эта клошарка прославилась тем, что изобрела канкан. Довольно-таки вызывающий танец.

– Я читала о ней, её зовут Селест Могадо.

– У неё было всё: бриллианты, дворец, кареты... В общем – что говорить? – жила на широкую ногу. Любила многих, а вот теперь она – никто.

– А вы говорите, любовь, – задумчиво сказала Викторин и покачала головой. Она вспомнила романс, который пела в поезде:

В то время торжества и счастья
У ней был дом; не дом – дворец,
И в этом доме сладострастья
Томились тысячи сердец.
Какими пышными хвалами
Кадил ей круг её гостей —
При счастье все дружатся с нами.
Подайте ж милостыню ей!

– Догоните несчастную, пока мы не уехали, – попросила она носильщика. – Передайте ей вот эти пятьдесят сантимов. Скажите – от Викторин, будущей Олимпии, покорительницы Парижа.

Так буднично, нетриумфально однажды свежим утром Олимпия появилась в Париже, чтобы завоевать!

Мы знаем из свидетельств современников Викторин: именно так она и назвала себя, будущей Олимпией. Без сомнения, девушка читала роман Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» и выбрала своим идеалом антагонистку главной героини книги Маргариты Готье, известную всему Парижу куртизанку Олимпию, холодную, расчётливую, не верящую в любовь и неспособную любить. Это было сродни озарению. Викторин предвидела свою будущую славу модели картины великого Эдуарда Мане. Предвидела, провозгласила девиз своей жизни, но не понимала тогда значения этих вещих слов, переносящих на одно мгновение маленькую наивную девушку в будущее её блестящей и скандальной известности.

«Может, и меня ждёт столь же печальная судьба, – подумала Викторин, глядя вслед уходящей нищенке, ошарашенной монетой в полфранка. – Карлица ведь сказала об этом. Пусть так. Всё равно, я не отступлюсь. Селест жила счастливо, и я тоже добьюсь своего. Она многих любила. Хотя и никакой любви на самом деле не бывает. Выдумка богатых. Не хочу быть ни *Королевой Мабилль*, ни этой жалкой Маргаритой Готье. Я стану Олимпией! Пусть лучше меня любят».

9

Ирочка Котек была первой моей ундиной. Совсем моей, если допустить, что ундина может быть чьей-то. Русалка, наверное, может любить, но, всё равно, живёт сама по себе.

Я сразу понял, что это ундина, как только её увидел. Она задумчиво шла по безымянной улице между Инженерным домом и Артиллерийским цейхгаузом Петропавловской крепости. Совсем молодая, очень грустная и вконец потерянная. «Ей восемнадцать, наверное, студентка какого-нибудь гуманитарного вуза. Вечером учится, днём работает», – подумал я. Потом подтвердилось, я угадал.

Институт культуры и восемнадцать лет!

Зачем я вообще подошёл к ней? Мне уже почти двадцать семь, а тут совсем молоденькая девочка. Обыкновенная, ординарная, такая, как все. Одета просто: невзрачная кремовая блузка, серая юбчонка и мягкие туфли без каблука.

Её не назовешь красоткой. Глаза – хоть и большие, но прозрачные и водянистые, уголки уныло опустились вниз. Ни краски, ни теней. Бледная кожа; волосы русые, прямые, стрижка без затей. Чуть одутловатые щёки, небольшой ротик, сложенный скорбным бантиком. Но ведь это не просто девушка, это ундина, чёрт бы меня побрал, – сердце стучало, как взбесившиеся часы, всё существо моё кричало о том, что передо мной настоящая ундина. Не знаю уж, как я это почувствовал, но понял и не мог я упустить такой случай!

Мы разговорились. Я быстро уболтал её – выставки, концерты, французское кино, «Розовый телефон», книги... Она не очень разбиралась в искусстве... Наверное, ей хотелось быть хоть как-то причастной к миру культуры. Увы, в этом пороке её нельзя было заподозрить. Впрочем, зачем тебе, милая, этот мир навороченных городских условностей и надуманных цивилизационных ценностей? По мне ты и так хороша своей юной незамутнённой излишками знаний свежестью, наивностью и непосредственностью.



Чудная пора, в её возрасте всё кажется притягательным и интересным. Обратил внимание на женственные движения милых ручек и оттопыренных пальчиков. Руки выдают человека. Ноги, кстати, тоже.

Пили кофе, весь день гуляли по Невскому, Мойке, Апрашке, вечером пришли ко мне.

Разделась сама, сразу, просто и буднично, и без всякого стеснения... Возможно, привычно. Привычно – непривычно, какая мне разница? Разделась... И тут я потерял дар речи. Там, в крепости, – мог ли я тогда представить себе, как она хороша? Настолько безупречна, что у меня, живого свидетеля чудесного явления Елены прекрасной в скромной квартире обычного крупнопанельного дома, в тот момент перехватило дыхание.

Она улыбалась – смотри, вот я какая! Лицо преобразилось, освещённое сиянием этой её замечательной улыбки, – бирюзовые глаза лучились, губы налились соками жизни, блеснул белым прибоем ряд идеальных зубов. Нагая и бесконечно прекрасная – «Я знаю, ты один видал Елену без покрывала, голую, как рыба, когда ворвался вместе с храбрецами в Приамов полыхающий дворец» – изумительное совершенство!

Твёрдые, вразлёт груди, светящаяся кожа и длинные ноги идеальной формы. Руки, плечи, бёдра – не худые, не полные, – чуть припухлые, по-детски округлые. Пальчики рук и кисти разведены в стороны, вся она исполнена ожидания любви и ласки, которые по закону всемирного тяготения непременно должны достигнуть её. Разве кто-то смог бы отказать в любви этой юной нимфе? Через некоторое время её восхитительное тело начало струиться и уплывать куда-то перед моими глазами.

Долгие годы, когда мы давно уже не были вместе, в моей памяти появлялась и подолгу стояла эта сверкающая непостижимая красота.

Она была воплощением юной любви – как я мог подумать, что она некрасива?

Что это была за ночь. Так не хотелось, чтобы приходило утро, с его серостью, суетой и хлопотами.

В её объятиях и тихом «не уходи» мне слышалось шекспировское: «Уходишь ты? Ещё не рассвело. Нас оглушил не жаворонка голос, а пенье соловья». Я ответил: «Нет, это были жаворонка клики, глашатая зари. Её лучи румянят облака. Светильник ночи сторел дотла. В горах родился день и тянется на цыпочках к вершинам».

Ты знаешь, Ирочка, чьи это слова? Почему говорится о жаворонке? И что следует сказать дальше? Нет, ты не знаешь, эти слова тебе неизвестны. А надо было бы что-то ответить. Мне так хотелось, чтобы она ответила. Или хотя бы повторила слова Джульетты: «Нельзя. Нельзя. Скорей беги: светает. Светает. Жаворонок-горлодёр своей нескладицей нам режет уши. А мастер трели будто разводит! Не трели он, а любящих разводит. И жабы будто у него глаза. Нет, против жаворонков жабы – прелесть!»

«Разводит трели – любящих разводит» – чудесный каламбур! Тебе это непонятно – и существо каламбура, и само слово «каламбур». У тебя пока второй уровень, дорогая. Будет ли когда-нибудь выше? Тебе уже восемнадцать, а Джульетте и четырнадцати не было.

Мы часто встречались, нередко Ира оставалась у меня, но переезжать не хотела. «Нет, нет, у меня мама. Я не должна её оставлять. Живём втроём – я, мама и отчим. Отчим – нехороший человек. Пристаёт ко мне, когда мамы нет. Теряет голову, когда видит мой бюст в вырезе блузки, а если я в короткой юбке – то его вообще не удержать!»

Что говорить, колени и ноги у неё были божественные.

Многое в моей юной возлюбленной оставалось для меня загадкой. И внезапно налетающая грусть, и желание постоянно возвращаться домой, хотя, казалось бы, ничего её там хорошего не ждало. Впрочем, как ничего хорошего, а мама? А ещё была эта странная её подруга, дамочка моего возраста или даже чуть старше. Довольно некрасивая женщина, тоже, кстати, Ирина, – обычная, очень простая, возможно, неглупая и, видимо, достаточно тёртая. Видел её пару раз мельком. Весьма загадочная и неприступная особа – тоже русалка, что ли? Всюду мне эти коварные русалки мерещатся – собираются по ночам, вяжут сети и готовят западню одиноким пилигримам. А кто ещё, интересно, может стать наперсницей ундины? Ирочка иногда по несколько дней жила у неё. Та шефствовала, нянчилась с ней, наряжала, наставляла... И, как я понял, совсем не одобряла наш роман.

– Конечно, этот твой друг, он респектабельный, прилично одевается, начитанный, умный, мягко стелет, но разве такой человек тебе нужен? – нащёптывала она моей нежной подружке, а та в подробностях передавала это мне.

По большому счёту, старшая русалка права: не нужен я юной возлюбленной.

Более опытная Ира номер два была абсолютно права; но дело ещё и в том, что чужая правота подчас особенно раздражает. Кроме того, было что-то ещё, не позволявшее мне принять вторую Иру как просто подругу моей солнечной возлюбленной.

Для моей малышки любые аксессуары чувственности – нежные слова, прикосновения, объятия, ласки – были вершиной всего! Не знаю, с чем сравнить её восприятие этой стороны жизни, мы жили тогда ещё в Советском Союзе – значит, можно сравнить с пиком Ленина или с пиком Коммунизма. Не исключаю, что между двумя Иринами было нечто большее, чем обычные доверительность и исповедальность подруг, но я старался не думать об этом, а если такие догадки приходили в голову – не принимать их слишком близко к сердцу.

Уже тогда было понятно: недолго нам суждено быть вместе. Гнал от себя навязчивую мысль, пытался не прислушиваться к скрипучим доводам разума, мне было просто очень хорошо с этой девочкой. Она вызывала у меня ни с чем не сравнимое пронзительное чувство. Тем не менее я был уверен, что будущего у нас нет. Почему нет будущего, почему я так думаю? Не знаю.

– Герман, ты ведь хотел, чтобы я переехала к тебе? Я перееду, пожалуйста. Это зависит только от тебя.

– Объясни, милая девушка.

– Почему ты не хочешь жениться на мне?

Вот оно что – она хочет замуж. Вообще-то очень правильная мысль. Но ты забыла, дорогая, ты ведь ундица! А с другой стороны... Русалка тоже хотела, чтобы принц принадлежал только ей. Стоп, я действительно не хочу жениться? Нет, это несерьёзно. Мы настолько разные, мы не сможем быть вместе. Как ей объяснить, что мы разные? Никак. Я отмалчивался или бормотал что-то несуразное. «Почему, почему, почему?» – спрашивала Ира.

Конечно, она готова была покинуть свой дом и перебраться ко мне. То не желала слышать о переезде, а теперь, наоборот, на всё согласна. Вряд ли ей там хорошо. Возможно, лучше, чем Викторин Мёран в доме её тётушек. Тем не менее похоже, она давно уже оставила дом матери и отчима в мыслях своих.

– Может тебе просто собрать вещи и переехать ко мне? Переезжай, милая. А жениться... Довольно устаревшая и, кстати, совсем необязательная процедура.

«Жениться – бррр, чур меня, чур!»

– Если я тебе не нужна, давай расстанемся.

Нет, отказываться от юной богини я не хотел.

У нас были общие друзья, которые догадывались обо всём. Кто-то говорил ей: «Не грусти, девочка. Он тебя не стоит. Посмотри на себя, ты же – воплощённая женственность, ни один мужчина не пройдёт мимо тебя спокойно».

Что правда, то правда: когда на ней был чёрный кожаный пиджак, короткая юбка и блузка с глубоким вырезом, выглядела она просто фантастично!

Какое-то время наши недомолвки и недоговорённости не имели существенного значения – нам просто было хорошо друг с другом. Скажу больше: мне ни с кем не было так хорошо, как с моей молоденькой ундиной – Ирочкой Котек. Ни до, ни после. До той самой поры, пока я не встретил Ану.

Ну а пока Ира. Как это описать? Нельзя сказать, что у нас была бешеная страсть, изнуряющее бешенство близости, хотя в любовных играх мы себе никогда не отказывали. Были какая-то особая полнота, завершённость и самодостаточность, были полёт и неземная нежность, бесконечно взлетающая к небесам радость.

Запомнился мой день рождения. Мне исполнилось двадцать семь. Или, может, двадцать восемь? Точно не помню. День рождения – разве это так важно, разве это праздник? Я был

в отъезде по каким-то служебным делам. Друзья заранее уговорили меня прийти вечером, по возвращении, к ним на мальчишник.

- Но у меня день рождения, ребята.
- Вот и отметим заодно!
- Тогда я приду с Котек.
- Нет, с Котек будет уже не мальчишник.

В общем, я проявил бесхарактерность, согласился и, вернувшись из поездки, прикатил на мальчишник один. И понял, что поступаю неправильно. Ирочка ждала меня, подготовила подарок.

- Нет-нет, ребята, всё. Ухожу!
- Хорошо, мы тебя ненадолго отпускаем, но ждём обратно, и одного! Мужская дружба – превыше всего! Хор поёт припев старинный, и слова текут рекой:

«К нам приехал, к нам приехал, Герман Влади-и-имирович дорогой!

Пей до дна! Пей до дна! Пей до дна!..

Герман Владимирович дорогой!»

И опять я проявил слабость и обещал вернуться.

На этот раз встреча с милой подружкой превзошла все мои ожидания. Она оказалась дома одна. Кроме подарка, подготовила ещё один сюрприз – из какого-то ха-бэ типа «марлёвки» сама сшила платье, которое необыкновенно подчёркивало её женскую привлекательность – тонкую талию, стройную девичью шею, открывало заветный *belvedere* на долину в вырезе груди. Ира была сама весна и любовь. Я коснулся рукой её лона, оно было влажным. Никогда ещё её прикосновения и объятия не наполняли меня такой радостью – вот, оказывается, какова любовь ундины!

Это свидание запомнилось мне на всю жизнь. Увы, ближе к ночи, украдкой взглянув на часы, я стал собираться, объясняя, что меня ждут друзья, что обещал им и так далее. Готовность к измене, предательство тех, кого, как тебе кажется, ты искренне любишь, – такие случаи, к сожалению, были не единичны в моей жизни. Теперь я понимаю, что она чувствовала в тот момент, когда я сказал, что мне надо уйти.

Был ли мой поступок причиной того, что случилось потом? Или наоборот, я предвидел то, что может случиться, и не хотел, чтобы наши отношения приобрели более завершённую форму, стали более искренними и открытыми? Мы существуем в прокрустовом ложе жёстких причинно-следственных связей, но иногда предчувствуем будущее и с учётом этого будущего корректируем свои поступки сегодня. Не исключено, что причина подчас лежит в будущем, а следствие – в настоящем.

Закончилось лето, прошла осень. У нас с Ирочкой Котек всё было по-прежнему вполне благополучно: мы почти ежедневно встречались, а по пятницам она приходила ко мне после занятий в институте, чтобы вместе провести выходные.

Однажды моя милая прикатила без предупреждения, неожиданно, – стоит на пороге и плачет. Я никак не мог её успокоить и выяснить, что случилось. К полуночи появились какие-то смутные объяснения. Она оказалась в гостинице *Октябрьская* – как оказалась там, непонятно, – в номере у какого-то Толика. Дальше всё неотчётливо: «Толик, Толик...» – и слёзы. К утру она успокоилась в моих объятиях: нельзя сказать, чтобы совсем, но, пожалуй, частично. И затихла.

Потом вроде всё продолжалось, как обычно. До тех пор, пока вскоре не проявила себя трихомонада простейшая, одноклеточная. Я простил Ирочку. Даже вопросы не задавал, простил – и всё. Я и сам не агнец божий, не мне судить других, тем более – её. Могу представить себе, что там, в *Октябрьской*, случилось. Понять – наполовину простить. В каких-то ситуациях она ничего не могла с собой поделать. Дитя природы – она не могла поступить иначе, это было выше её сил.

Все мы созданы для любви. Одни могут дать её очень мало, совсем чуть-чуть. У них узкий диапазон и ограниченные возможности. Другие готовы одаривать многих. Плохо ли это? Если двигаться в русле сложившейся, привычной морали – плохо. А если смотреть шире?

Прошло месяца полтора. Вроде избавились от одной напасти. И тут новая – словно обухом по голове. Ира, оказывается, в интересном положении. Непонятно, почему такое случилось. Береглись как могли. В те допотопные времена изделия №2 подолгу отсутствовали в продаже, а другого ничего и не было. Но всё равно предохранялись мы хорошо. Тем не менее всё бывает, по опыту знаю – мои сперматозавры почти летучие и очень зло-ядовитые. Но где гарантия, что к ней залетел именно мой посланец, а не какого-нибудь Толика? Нет, я решительно не хотел иметь серьёзного будущего с этой неокрепшей духом ундиной, тем более – не хотел плодить безотцовщину.

Котек привела ко мне домой молодого парня – гинеколога. По странному стечению обстоятельств – тоже Толика. А может, ничего тут и не было странного, может быть, как раз того самого Толика?

«Попробуем обойтись без хирургии», – деловито сказал он и сделал укол моей нежной подружке, ввёл что-то сосудорасширяющее или, наоборот, сжимающее. Меня мутило от пошлого комплексного обеда, накрытого для предполагаемого любовного пиршества. Он колол и препровождал мою душеньку к моей койке, сам, конечно, оставался в другом помещении. Потом снова колол, потом опять в койку. И так несколько раз. Никогда ничего более позорного в моей жизни не было. Толик снисходительно улыбался, подбадривал: «Тореадор, смелее в бой!» и, похоже, смотрел на нас обоих как-то сверху вниз – или, может, это мне показалось? Из задуманного Толиком ничего не получилось: пришлось решать всё обычным образом, официально, конечно.

После этого мы редко виделись с моей ундиной. Всё постепенно сходило на нет.

Она сказала, что встречаться со мной больше не будет. Возникло ощущение, что у неё кто-то появился и она не хотела быть «плохой девчонкой», которая скачет из постели в постель. В общем, дала мне «от ворот поворот». Представляю, как злорадствовала вторая Ирина, её наперсница! А может, и нет. Может, она вообще ревновала юную Котек ко всем мужчинам?

Я старался не особенно огорчаться. «С самого начала было ясно, что нам не быть вместе», – пытался я себя утешать. Но за время нашего романа я привязался к девушке. Скучал без неё. Понимал свою вину. Хотел вновь её увидеть... Часто вспоминал наши объятия, и временами сожалел, что мы расстались. По трепетным вибрациям в телефонной трубке я чувствовал, что пока ещё небезразличен ей, но увидеться она не желала – «нет, нет, я занята, да и незачем». Надо было набраться мужества и перевернуть эту страницу жизни. По-видимому, она тоже всё для себя решила. Тем не менее ещё одну ночь с милой подружкой мне судьба подарила. Странную ночь.

Как-то всё-таки удалось уговорить её подъехать ко мне. Почему она согласилась – непонятно. Возможно, её тоже тянуло к прошлому. «Хорошо, я приеду, поговорим, нам есть, что вспомнить».

Попили чаю, поговорили, мы ведь не чужие. Визит затянулся надолго, до полуночи, и она согласилась, что теперь ей лучше остаться, чем ещё час ждать такси и почти столько же добираться домой. «Только, чтобы ничего, ни-ни!» – и она строго погрозила мне пальчиком.

Строго-престрого! В итоге я ласкал её всю ночь, она была почти моей. Мои руки доставали до её укромных мест, а раскалённый жезл бесчинствовал в долине между двумя восхитительными вершинами её Эльбруса, добирался и до входа в райские ворота, но проникнуть в вожаденный Эдем ему так и не удалось. Может быть, в тот раз она на самом деле была беременна от Толика, а теперь не хотела повторить прежнюю ошибку – быть с одним, а оказаться беременной от другого. И ей это удалось.

Она сгорала и плавилась в моих объятиях, чаша её переполнялась и выплёскивалась, но она, видимо, твёрдо решила, что раз есть обязательства, то на этот раз она останется «хорошей девочкой». И никакой любви «на стороне» (я уже был на другой стороне).

Обязательства на то и существуют, чтобы им следовать. Интересно, как назвать то, что было между нами? Если не близость, то что же? Лесбиянки на свидании не всегда используют фаллоимитатор, но это не означает, что в этом случае между ними нет близости. В конце концов, девушка согласилась помочь мне, и я достиг её губ и языка. Видимо, она посчитала это хорошим компромиссом.

Жизнь не стоит на месте, летом и осенью меня уже кружили новые увлечения, которые заставили надолго забыть о юной нимфе. Надолго, но не навсегда. Пожалуй, я и сейчас вспоминаю о ней с теплотой и нежностью: было бы интересно разыскать её, узнать о дальнейшей судьбе – но не настолько, чтобы рыдать в подушку по ночам.

Возлюбленный русалки, предавший её, должен быть наказан забвением и беспробудным сном. Но я пока жив. Так что, может, я ей все-таки не изменил? Ушёл, отказался, но не изменил. Возможно, меня судили две Ирины-русалки. Или даже целый объединённый совет водных див. Но, видимо, они всё-таки помиловали меня. И не только простили, но и прислали лучшую из лучших, мою Аганиппу в мыслях, мою Ану в жизни. Ана, Ана, похоже, я тебя тоже предал. Живёт, живёт в моей крови до сих пор страсть к измене.

Прости меня, Ирочка Котек! Наверное, я виноват перед тобой. Я ведь многим тебе обязан. Именно ты открыла мне дверь в мир настоящих ундин. Ты – не ангел, конечно, но чудесная, потрясающая, загадочная, получеловек-полурусалка, женственная и противоречивая, живое существо, не оторвавшееся в полной мере от матери природы.

Прости меня, дорогая, я оказался недостоин твоей любви. Боюсь, в этой пьесе мне довелось сыграть не лучшую свою роль, но будущего у нас не было.

Больше мы с ней не виделись. Казалось бы – прощайте недостижимые царства морских и речных див! Не знал я тогда, что вскоре мне будет суждено сделать ещё один шаг в мир ундин.

Продолжение следует

Игорь ЧЕРНИЦКИЙ



Искусство в большом долгу... у совести, финансов, вечности (ненужное подчеркнуть)

Приближение Марса

Памяти Серёжи Комарова посвящая

Если художник способен верно и ясно выразиться и находит для выражения мыслей всегда самые простые контуры, если линии его всегда остаются живыми и выразительными...

*Юлиус Шнорр
фон Карольсфельд*

Глава I

Дым поднимался с нижнего этажа, закручиваясь, словно пылесосом втягивался через раскрытую балконную дверь в помещение, и запах раскуриваемой внизу сигареты можно было уловить в самом отдалённом от балкона уголке.

– Опять дымит, чёрт бы тебя побрал! Чтоб тебя разорвало уже от твоего курева! Кажется, через каждые полчаса дымит. Будто задался целью нас тут всех отравить. И как сам-то живой ещё. Может, грамм никотина и убивает лошадь, но бегемоту этому всё нипочём.

Вслух Юрий Кириллович произнёс только: «Опять дымит, чёрт бы тебя побрал! Чтоб тебя разорвало...» Остальное с быстрым затуханием ушло в утробное ворчание. Действительно, что за времена: идёшь по улице, а навстречу – модненькие девули, и сигаретками дымят. Раньше встретить курящую женщину на улице – ну вот чтоб шла и на ходу дымила, как с похмелья слесарь, – ну никак невозможно было. А сегодня – запросто. Любая пигалица дымит тебе навстречу без зазрения совести, и уже не на ножки её смотришь, а воротишь нос, чтоб меньше дыма заглотнуть.

Юрий Кириллович Просекин – довольно известный в Москве скульптор, академик. В свои пятьдесят три он приобрёл имя серьёзного мастера, вокруг которого сплотились ученики, а его частные подготовительные курсы осаждали будущие абитуриенты и Суриковского,

и Строгановки, и ВГИКа, и Академии Андрияки, и Художественно-промышленного института... И даже те мальчишки и девчонки, что собирались в Питере в Репинский поступать, несли ему свою копейку. Выставки Юрия Кирилловича устраивались с регулярным постоянством, а заказы сыпались как из рога изобилия. Года три тому назад он добил, наконец, рутинное руководство МСХ – Московского союза художников – и получил к своему юбилею обширную мастерскую на верхотуре девятиэтажной жилой сталинки. Самое интересное, что и старое полуподвальное помещение на Большой Никитской ему тоже удалось сохранить за собой. Умастил, кого следует, и о нём «забыли».

Демонстративно, со злобным надсадом кашлянув и невольно втянув носом поднимающийся снизу сигаретный дым, Юрий Кириллович насупил густые брови, повернулся и шагнул с балкона в мастерскую. При этом он хотел сильно хлопнуть балконной дверью, так, чтобы курящий внизу на своём балконе «бегемот» почувствовал его раздражение и хоть чуточку усовестился. Но в последний момент пожалел свои новые металлопластиковые стеклопакеты, а главное – резиновые уплотнители на них. Рабочие, что новые окна недавно устанавливали, предупредили: лучше сильно не хлопать – резина дольше послужит, а то менять – целое дело.

От двери балкона Юрию Кирилловичу приятно было пройти по своей отвоёванной в нелёгкой многолетней схватке с чиновниками студии-мастерской. И прежде чем направиться к своему столу, он специально сделал большой круг, лавируя между мольбертами и досками для рисования своих подопечных, корпящих над заданным рисунком живой модели. А моделью этой он гордился как приобретением ничуть не меньшим, чем вся мастерская. Да-да, без преувеличения. Ведь известно, как трепетно художники относятся к натурщикам, с которыми сложилось профессиональное взаимопонимание. Это для них просто священная корова. А тут дело было так.

Посетила однажды скульптора Просекина в его ещё старой полуподвальной мастерской делегация молодых людей. Изрядно накаченных. Ну просто шкафы в строгих костюмах. Короче, по всему виду – братки. И лица у них, собственно, были, как дверцы современных офисных шкафов, гладкие, не украшенные затейливым орнаментом мысли. Проблема у них была скорбная: погиб на стрелке их братан, и вот пришло время устанавливать памятник на месте его упокоения. И захотелось им, чтоб стоял он там как живой во весь свой реальный недюжинный рост. И были чтоб на нём только лишь боксёрские трусы с наградным поясом и соответствующие перчатки. Ибо был он, и правда, до того как в братки податься, боксёрским чемпионом. И множество всевозможных наград получил в олимпиадах и соревнованиях по всей матушке России. Они даже награды эти, из уважения к мастеру искусных надгробий и чтоб проникся, в коробке из-под обуви сорок пятого размера принесли. И когда лапища одного из них, самого хмурого, крышку этой коробки подняла, в глаза Юрия Кирилловича так и прыснуло золото, переложенное пёстрыми лентами.

И возжелали братки, чтобы их коллега-чемпион был в бронзе уподоблен богу-красавцу Аполлону, только в трусах. Кстати, и трусы его с чемпионским поясом они тоже принесли. Юрий Кириллович глянул на них и скептически скривил губы:

– Талия у покойного была всё же... Геркулесова.

Однако заказчики настаивали на Аполлоне, дескать, душа у почившего олимпийца была тонкая. А ещё он на гитаре песни клёвые пел. Так и сказали: «На гитаре песни клёвые пел...» И на лицах у них наметился некий абрис скорби. А один даже простонал, чуть привирая мелодию: «Под ольхой задремал есаул молоденький, приклонил голову к доброму седлу...»

И всё-таки без пяти минут народный художник России – документы на звание уже ушли на подпись президенту – из уважения к уголовному кодексу и просто нежелания иметь любые контакты с криминалом, называл одну за другой причины, по которым он вынужден отказаться от такого, как он выразился, печального заказа. Ну да, памятники великим мира подлунного,

им исполненные, кое-где по городам и весям России стоят, но надгробиями, тем более, так сказать, современников, он вообще ещё никогда не занимался...

И потом – главное... Был у Юрия Кирилловича к этому проклятому криминальному миру свой кровавый счёт... Саднящая рана на сердце... И сердце напомнило: сдавило его, будто кто на него лапищу свою положил...

– И кто это вам меня порекомендовал? Он просто не в курсе моих творческих планов, возможностей и вообще мироощущений...

И тут была названа сумма вознаграждения. Юрий Кириллович пожал плечами:

– Нет, простите, это не моё...

Сумма тут же была увеличена.

Юрий Кириллович тяжело вздохнул:

– Не-е, друзья, давайте не будем...

Сумма легко была увеличена вдвое.

Юрий Кириллович опустил плечи.

Договорились: вначале заказчикам будет представлен эскиз. Опыт подсказал Просекину обусловить, что отсчёт времени пойдёт с того момента, как будет найден достойный натурщик. И вот тут возвращаемся к вопросу о полезнейшем приобретении скульптора. О его священной корове, или, справедливее сказать, бычке. Впрочем, всё это грубо звучит, когда речь идёт об Аполлоне.

Юрий Кириллович, даже неожиданно для себя самого, так увлёкся проектом, что задался целью действительно найти для натуры «живого Аполлона». Все профессиональные натурщики, работавшие в художественных вузах, по тем или иным причинам его не устраивали. Возраст не тот, осанка не та, ну нет того олимпийского совершенства, некоего устремления к солнцу, к небу. То грудь не так миру раскрыта. То в ногах и руках нет той мощной пластики, неудержимого стремления. То в шее нет той энергичной уверенности. То голова не с божественным достоинством на ней посажена. В общем, замучился он с этими поисками. А тут ещё братки подключились. Давай таскать в мастерскую одного за другим профессиональных спортсменов, как они ему этих неуклюжих качков представляли. Юрий Кириллович из уважения поначалу демонстрировал заинтересованное внимание. После приказа братков «снять все шмотки догола» тоном, каким они, очевидно, на своих стрелках разговаривают, Просекин учтиво просил потенциального Аполлона взойти на подиум. Тот покорно всё с себя стягивал и, обеими руками плотно прикрывая то, что стоит прикрывать, вставал на возвышение и испуганно таранился на мастера. Юрий Кириллович хмурил лоб и плотно сжимал губы, чтобы не рассмеяться, когда заказчики требовали от своего протеже встать в боксёрскую боевую позицию, и тот с невероятным усилием размыкал внизу железобетонные руки, растерянно открывая своего беззащитно скукожившегося друга.

– Всё, друзья мои, – в конце концов, отводя взгляд от очередного претендента, хлопнул по облезлому косяку двери Юрий Кириллович. – Не смею вас больше утруждать. Поверьте мне, это лишняя трата времени. Я сам найду. Найду, сделаю модель и приглашу вас. За сим не смею вас больше задерживать. Честь имею!

И вдохновенный ваятель, захватив пачку своих эффектных, с золотым тиснением, визиток, отправился в поход по стадионам, дворцам спорта, гимнастическим залам, бассейнам, секциям, школам, фитнес-центрам и так далее и тому подобное. И в институт физкультуры его один приятель приводил, и даже в школу олимпийского резерва – всё без толку. Всё не то. А если и вроде бы то – так сговориться было невозможно. И дело даже не в сумме предлагаемого заработка – просто экземпляр, казавшийся Юрию Кирилловичу подходящим, отказывался в принципе этим заниматься. Шут их знает. Вероятно, кто-то считал ниже своего достоинства, а у кого-то была невероятная занятость и вообще иные непересекающиеся планы. Мастер от отчаяния уже готов был опять вернуться к помощи братков. А однажды пришла

вообще крамольная, но пафосная мысль гения-бессребреника: взять, да отказаться от этого мерзко шелестящего купюрами заказа. И тут... Так бывает, когда уже руки опускаются, однако наперекор всему не гаснут вера и надежда. И главное – любовь, любовь к делу, которому служишь. В данном случае – верность Мельпомене и всем её восьми сёстрам. И хоть каждая из них не покровительствует отдельно живописи и скульптуре, но все вместе они не могли не отметить коленопреклонённой преданности измученного поисками художника и, используя свои связи на Парнасе, вышли на самого Аполлона и уговорили его посодействовать.

Вынужден был как-то Юрий Кириллович отправиться в путешествие по московским универсам в поисках приличных штиблет: предстояло открытие очередной выставки. Отправился один: Москва изнывала от июльской жары, и жена, в очередной раз вывернув мужнин кошелек, упорхнула с дочкой на Французскую Ривьеру. Оттуда благоверная через день звонила и давала ценные указания. Вот и насчёт туфель распорядилась: пойдёшь купи, неудобно в Манеже стоять перед микрофоном в растоптанных башмаках, их потёртость уже под кремом не скроешь.

Зашёл в Carri Club. Мерил-мерил, выбирал, молоденьких продавщиц мучил: те жмут, эти хлюпают. А эти вроде ничего, так подъём такой низкий, что опухшая косточка у большого пальца такой болью отзывается – не шагнёшь. Плохо без жены: она бы быстренько подобрала, а главное, убедила бы, что это хорошо.

Загребел о кафельный пол обувной рожок. Поднял и подал уронившей его дебелий даме:
– Простите, не посоветуете, как вам эти на мне?

Дама чуть отошла, оценивающе присмотрелась и опустила уголки губ:

– Они же на вас огромные... Прямо как лыжи.

– Ну, я специально на два размера больше... Видите ли, у меня тут косточка у большого пальца... На правой ноге... Так упирается...

– Ну и что? Это ж кожа – разносите! Возьмите хоть на размер меньше!

Говорила она громко, на весь отдел, будто отдавала команды:

– Вы в зеркало-то гляньте! Роста вы небольшого!.. Ноги короткие!..

Юрий Кириллович понуро уставился на острые носки фирменных штиблет сорок пятого размера, и так ему захотелось вклеить даме:

– А не пошла бы ты в ж...

Но, естественно, промолчал. Только поднял грустный взгляд на неё. Она же цвела надменной улыбкой. Да чтоб ни одни туфельки во всех московских кариклабах не налезли на твои толстые пятки!

Сложив в коробку штиблеты, он вернул их продавщице:

– Не будете брать?

– Нет, не буду.

Пока спускался по лестнице, всплыл неожиданно в памяти тяжёлый сон. Явился ему во сне этой ночью сын-покойник Кирюшка. Первенец от первого брака.

Убили его, двадцатилетнего Кирилла, студента третьего курса Архитектурного, на обычной студенческой вечеринке. Собрались у однокурсницы – родители её, преуспевающие московские архитекторы только-только ей уютную квартиру на двадцатилетие подарили. Вот и собрались ребятки потусить. Были в их компании и парни со стороны. Чуть постарше всех, личности тёмные и крутые. Они и напитков целые сумки приволокли. Выпивали, болтали, дурачились, пели. И опять пили. Двое крутых отправились на лестничную площадку покурить, и Кирюшка на беду свою за ними увязался, хотя и не курил никогда. Какой там курить! Он по три раза в неделю в фитнес-клуб отправлялся – красавец был мальчишка. О чём уж они там заспорили, на этой холодной площадке, о девочках, наверное, но только один из этих крутых спокойно вернулся в квартиру, прошёл на кухню, взял нож, вышел на лестницу и пырнул этим

разделочным ножом бедного Кирюшку. Полз раненный мальчишка с третьего этажа, прижимая слабеющую руку к груди, упал на снег во дворе и залил его кровью.

Хоть и не зажило, но отдалилось то страшное горе почти на десять лет. И, как не странно, ни разу Юрию Кирилловичу сын не снился. А прошлой ночью вдруг привиделся, да так чудно. Подходит Юрий Кириллович в своей квартире к входной металлической двери, с протяжным леденящим скрипом открывает её и видит на тускло освещённой лестничной площадке Кирюшу. Стоит сын ссутулившись и кутается в большой клетчатый плед:

– Что ж ты, пап, не открываешь-то так долго? Я уж замёрз здесь...

– Дык а я... это... звонка не слышно было...

А сын проходит в комнату, осматривается и всё кутается в свой плед:

– Как же не слышно? Я на звонок жму и жму, а ты...

Юрий Кириллович шагнул на лестничную площадку, нажал кнопку звонка – ни звука. И ещё, и ещё раз нажал. Молчит звонок. Юрий Кириллович встал в проёме раскрытой двери:

– Сынок, так ведь звонок-то не работает...

А Кирилл смотрит на него с такой болью, с таким укором:

– То-то и оно, батя... А только надо во все колокола звонить... Чтoб проснулись...

И Юрий Кириллович проснулся.

Вот вспомнил в магазине этот сон – и спина похолодела. И ведь так ясно лицо сына видел. Вот только был-то он на грешной земле стройным, улыбчивым, жизни открытым, а тут весь съёжился, мрачный, таинственный какой-то. Что это, почему так? Надо на могилку съездить...

С тяжёлыми мыслями выбирался Юрий Кириллович из шумного, блестящего витринами магазина. Стариком себя почувствовал. Немоощным и одиноким. Стоп! А жена? А дочь? Ну что, они сами по себе, у них свои интересы. Шепчутся, секретничают, им друг с дружкой любо-весело. А коль спросит вдруг Юрий Кириллович:

– Доця, как дела-делишки? Проблемы?..

Она только плечиком поведёт:

– Да нормально всё.

– Опять «нормально». Всегда только «нормально». Других слов для отца не найдёшь?

– Ой, пап, не комплексуй! Всё у меня по жизни прикольно. Не волнуйся, если чё не то вдруг, не дай бог, случится, ты первый узнаешь...

– Поздно, поди, будет?

– Не волнуйся, не опоздаешь. А так, зачем тебе в мелочах копать? Не твой масштаб.

А если удавалось затащить её в мастерскую, работу новую показать или эскиз какой, – у неё на это одно словцо:

– Прикольно...

А ещё говорят, что дочери с отцами близки. Может, в какой семье и так, но у него – увы! Ах, как он радовался первенцу. Пацан! Мужик! Воин! Друг! Единомышленник! Защитник! Будет в ком повториться...

Юрий Кириллович поскользнулся на ступеньке и сковырнулся бы прямо на площадку перед тяжёлой стеклянной входной дверью в супермаркет. На счастье, женская чуткая рука подхватила его под локоть:

– Вам плохо?

– Нет-нет, спасибо! Просто оступился. Вы очень внимательны, благодарю вас!

Милая молодая женщина улыбнулась и застучала острыми каблукками по ступенькам к выходу. Толкнул и он высокую прозрачную дверь.

Побрёл по расплавленной, окутанной знойным маревом Москве. Сизый удушливый воздух повис в безжизненной неподвижности над раскалённым асфальтом. Сонно продвигающиеся в пробках автомобили продолжали его отравлять, а те, что густо стояли по обочинам

и во дворах, нагрелись так, что работали уже в режиме разноцветных печек-буржеек, добавляя городу нездоровый жар.

Юрий Кириллович понуро плёлся по размягченному полуденному тротуару. Состояние было скверное. Оно, собственно, и нечему радоваться. Перед походами по магазинам он ранним утром ещё побывал на приёме у весёлого и бесполезного чиновника Минкульта, который обещал помочь с новой мастерской. То, что эти обещания пустые, Юрий Кириллович интуитивно просёк, как только за ним закрылась дверь кабинета, и к ней двинулся, грузно поднявшись с диванчика приёмной, очередной посетитель. И как же чиновнику не раздавать всем обещания, когда он только занял такой синекурный кабинет. Надо всем улыбаться и обещать, а вот выполнять – совсем другое дело. Для этого надо задницу из кресла поднимать, куда-то по инстанциям звонить, идти, настаивать, а всякие телодвижения опасны: другой обещатель изловчится и займёт твоё кресло. Так что, как говорится, попал в тёплое место – сиди и не чирикай. Учтливое равнодушие – вот профессиональная черта. В министерстве подвижники не нужны – там нужны неподвижники. От министра до гардеробщицы. На этом оно и угнездилося в своём переулке Гнездииковском, стояло и, увы, так стоять будет.

Прогнать от себя все эти горькие, одна на другую наслаивающиеся мысли Юрию Кирилловичу помогло то, что он, неспешно продвигаясь по тротуару, глядел себе под ноги и удивлялся, как это женщины, оставляя вмятинки от своих шпилек, не теряют туфельки. Конечно, это пекло ещё не превратило асфальт в вязкое болото. Однако почти довело до консистенции упругой податливости, и Юрию Кирилловичу пришла вдруг идея слепить женщину, увязшую в московском асфальте: тонкие высокие каблочки провалились, расплавившееся платьице стекает по ней, словно пот, и вся её изящная обнажённая фигурка извивается в безнадежном желании воспарить. Этакая влипшая московская муха-цокотуха...

Его легко толкнули. Юрий Кириллович вздёрнул подбородок.

– Простите, – смущённо улыбнулся Аполлон.

«Точно – Аполлон!» – озарило скульптора. Только в трусах. Точнее, в коротеньких шортах.

В той изнурённой жарой столице часто можно было встретить молодых людей с обнажённым торсом. Стянет потную футболку, затолкает её в сумку и шагает, демонстрируя свою мускулатуру. Свободен как античный бог. Но москвичи постарше вообще-то возмущались: ладно по улицам так болтаются, так ведь в магазины, в метро в таком виде лезут. Может, скоро в набедренных повязках будем ходить, куда это, интересно, катится цивилизация? Вот что революции-то творят: форменное бесстыдство, аморальный дурман какой-то. Это ж в двадцатые-то годы прошлого века парни и девицы, да и кто постарше, по городам расейским и аж в самой Москве нагишом дефилировали, и на красной через плечо ленте белыми буквами: «Долой стыд! Одежда – личина буржуазной порочности и распутства! Обнажённое тело – чистота, непорочность и искренность». Во как! Вот и в начале двадцать первого века облучённая постперестроечным заревом молодёжь под эти знамёна устремилась. Срам один со всеми этими стрип-барами и телешоу с раздеванием. Впрочем, художника подобные рассусоливания обывателей могут только раздражать, особенно в период поиска подходящей натуры...

Полуобнажённый юноша, получив кивок на своё извинение, двинулся дальше, а Юрий Кириллович развернулся и устремился за ним, словно охотник за добычей:

– Молодой человек, простите! На минутку можно вас задержать?

– А что вам?... – оглянувшись, спросил парень насторожённо.

Он чуть замедлил шаг, но не остановился, и Юрий Кириллович, догнав его, засеменил рядом.

– У меня интересное предложение.

– Какое ещё предложение?

– Творческое.

– Творческое?.. – парень усмехнулся. – Надо же, прямо в душу заглянули.

– В душу?.. – как-то нелепо усмехнулся Юрий Кириллович, неожиданно чувствуя смущение и с трудом подыскивая для объяснения нужные слова. – В данном случае меня интересует ваше тело... Да постойте же! Такие вопросы на бегу не решаются...

Пытаясь придержать юношу, он едва коснулся его руки. Тот резко отдернул плечо, остановился.

– Что ещё за вопросы?! И вообще... Чего вы привязались?! Я не из этих... ваших... московских...

– Постойте, каких ещё ваших?!

– Да таких! Тело его моё интересует... А не пошли бы вы?! Я не из этих...

– Да постойте же! Каких, этих-то?

– Да таких, фиолетовых!

– Молодой человек! Успокойтесь! Не знаю я никаких фиолетовых. Я художник, скульптор. Смотрите, вот вам моя визитка...

Парень наконец остановился, взглянул на визитку:

– Это сейчас каждый может напечатать.

– Ну хорошо! Сейчас, сейчас, – Юрий Кириллович стал суетливо шарить в своей кожаной сумке. – Где-то тут удостоверение Союза художников. Вот ведь, ёлки зелёные, когда надо и не найдёшь сразу. Похоже, я его в пиджаке оставил.

От волнения у Юрия Кирилловича, несмотря на полуденное пекло, выступил холодный пот на спине.

– Ну допустим, – снисходительно усмехнулся парень. – А я-то вам зачем?

– Всё объясню, – Юрий Кириллович выставил перед его мощными грудными плитами свою ладонь с серебряной печаткой на мизинце, увенчанной крупным чёрным ониксом. – Вас как зовут?

Парень взглянул на перстень и чуть скривил губы:

– Ну допустим, Кирилл.

У Юрия Кирилловича вдруг опять пробежал холодок по спине.

– Удивительно, – выдохнул он.

– Что тут удивительного?

– Нет-нет, ничего. Простите! Всё нормально. Меня зовут Юрий Кириллович. Возьмите визитку. Да не бойтесь, она не заразная. И я вам, ей-богу, зла не причиню. Конечно, вам, нормальному человеку, моя навязчивость может показаться странной...

– С чего вы взяли? Может быть, я тоже ненормальный.

– В смысле? – поднял брови Юрий Кириллович.

– В смысле творческих метаний, – улыбнулся Кирилл. – Может быть, я тоже в творческом поиске нахожусь.

– То есть?

– Да ну, долго рассказывать.

– А вы спешите? Давайте присядем ненадолго. Смотрите, какие уютные столики. Поверьте, у меня очень интересное для вас предложение. Творческое. Скажем так, дело для вас почти актёрское.

– Актёрское? – не скрыл заинтересованности Кирилл. – Надо же...

– Пойдёмте, – коснулся его плеча Юрий Кириллович.

Кирилл натянул футболку, и они направились к летнему кафе с выставленными на тротуар столиками, огороженными ящиками с белыми и ярко-лиловыми петуниями.

Оказалось, что Кирилл приехал в Москву в четырнадцатом году из Горловки Донецкой области. Было ему тогда тринадцать. Как он выразился, тётушка-москвичка упаковала его и вывезла как беженца.

– Укропы нашу высотку на окраине расстреляли из града, – бесстрастно рассказывал Кирилл, прихлёбывая из чашки капучино. – Я в музыкалке был, подхожу к дому, а вместо нашего балкона дырища чёрная. Всех – папку, маму, Оксанку-сестрёнку. Всех враз. Ксанке только семь исполнилось. В школу должна была пойти. Это ж июль был. Уже и платье купили. Я ей ранец выбирал. Смешной такой нашёл. С мордочкой ёжика и пупырышки как иголки. Ну правда, будто ёжик на плечах. Она даже кукол забросила, всё с этим ёжиком носилась, – он допил кофе, глянул в глаза Юрию Кирилловичу и опустил голову, поставил чашку на блюдце. – Нет больше ёжика.

Кирилл замолчал. Юрий Кириллович поднёс к губам полную чашку, при этом чуть не выпустил её из слабо сжимающих ручку пальцев, глотнул свой остывший кофе:

– У меня был сын. Тоже Кирилл. Тебя постарше. Ему двадцать было...

– Почему был?

– А его убили.

– На войне?

– Нет. Это давно было. Тогда войны не было. Просто... Убили на одной московской вечеринке. Вышли пьяненькие парни из-за стола на лестничную площадку, закурили, поспорили из-за смазливой девчонки, побежал один на кухню, нож схватил... – Юрий Кириллович вдруг замолчал, будто поперхнулся, откашлялся, отвёл в сторону взгляд, потом с трудом набрал полную грудь воздуха и выдохнул: – Ох, господи, страшно...

Помолчали. Отхлебнули кофе, почти синхронно, звякнув, поставили на блюдца чашки. Кирилл криво усмехнулся и сказал:

– У меня пострашнее будет.

Юрий Кириллович вопросительно поднял брови.

– У нас дом-то обычный был. Советский. Девятиэтажка панельная на отшибе Горловки. Мы на самой верхотуре жили. Весной, когда снег над нами на этой прогнившей рубероидной крыше таял, у нас в углах, на стыках бетонных плит, подтёки. Сыро, холодно...

– Да уж, – сокрушённо покачал головой Юрий Кириллович, – строили временки-развалюхи. Быстро, скоро, плохо...

– Ну, это понятно, – согласился Кирилл. – Но я не про то. Когда отцу как шахтёру-передовику эту трёхкомнатную на девятом этаже дали, мы, знаете, как радовались?! Мы в этой квартире, знаете, как жили?! Короче, дружно жили. Мамка с папкой, знаете, как друг друга любили?! От этого и в доме тепло было.

– Ясное дело, – улыбнулся Юрий Кириллович, – как говорится, пляши от печки...

– Только, вот не пойму почему, мне всегда казалось, что скоро это жильё наше тёплое закончится, рухнет враз. Вот зимой рано же темнеет... Иду вечером с тренировки или из музыкалки, гляжу – окно наше на кухне светится: мама ужин готовит, ждёт. А у меня прямо как-то сердце защежит: так и вижу – это окно навсегда погасло. Так оно и случилось... Я бежал как сумасшедший, ничего перед собой не видел, только эту огромную чёрную дырищу. У нас дом к закату солнца был повернут. В конце дня всегда наша сторона таким тёплым светом залита. А это ж июль был, двадцать седьмое июля. Вот на этой солнечной стороне дырища чёрная вместо наших окон...

Кирилл замолчал, уставился на свою опустевшую после кофе чашку. Потом взял её двумя пальцами за ручку, перевернул кверху дном и поставил на блюдце.

– Верить? – спросил Юрий Кириллович.

– Да ни во что я уже не верю... – отмахнулся Кирилл.

– Погоди, всё ещё у тебя будет, – попытался его успокоить Юрий Кириллович, но сам почувствовал, как дежурно прозвучала эта фраза.

И показалось ему, Кирилл ответил как-то зло:

– Ничего уже не будет. Я после того двадцать седьмого июля лет на сто постарел.

Помолчали. Юрий Кириллович уже и боялся что-то сказать только для поддержки разговора. Вот брякни сейчас что-нибудь невпопад – а что, собственно, тут скажешь, чтобы впопад было, – парень поднимется и уйдёт, и растворится в толпе, так же как появился из неё...

Когда Кирилл поднял голову и снова заговорил, Юрий Кириллович своим острым взглядом художника тут же уловил, как заблестели его глаза от глубоко упрятанных слёз.

– Кто-то меня пытался остановить, когда я по лестнице на наш девятый летел, за скрипку ухватил, так она у него в руках и осталась... Всё было чёрное, будто я внутри какой-то прогоревшей печки оказался. И так противно пахло, такой гарью, что ли, меня аж затошнило. В первую минуту подумал, что это не то, не наш дом, где мы так жили. Вдруг увидел... Мне показалось, это кукла... Без головы... Это была не кукла. Это Ксанка была, сестрёнка моя, – Кирилл как-то странно улыбнулся, если этот оскал можно было назвать улыбкой. – Представляете, единственное, что в этой чёрной дымящейся дыре на нашем девятом этаже уцелело, так это Ксанкина любимая кукла. Только платьице обгорело. Мама его на Новый год для этой куклы сшила.

Он опять замолчал. Смотрел куда-то далеко, мимо Юрия Кирилловича, будто вообще забыл про него. Пауза затянулась, и художник почувствовал себя как-то неловко, каким-то лишним, не умеющим ни утешить парня, ни даже просто возобновить разговор. Наконец нашёлся:

– Кирилл, у тебя мама была портниха?

– Почему портниха? – удивился юноша, взглянув на Юрия Кирилловича отсутствующим взглядом своих больших синих, в тёмной ресничной опушке, глаз.

– Ну... вот... платье кукле сшила... – улыбнулся Юрий Кириллович и подумал: вот ресницы-то длиннющие у парня, любая девушка позавидовала бы – они такие клеят; слышал, кто-то из наших сейчас шекспировские иллюстрации делает – вот тебе Ромео.

– А-а, да нет, – усмехнулся в ответ Кирилл, возвращаясь в мыслях из своего горького далека. – Она учительница была. Учительница русского языка и литературы, – он ухватил перевернутую свою чашку за самое дно и стал вращать её на блюде. Будто заводил какой-то механизм. – Она в старших классах вела, у нас стол посреди большой комнаты вечно стопками школьных тетрадок был уставлен. Она сочинения проверяет и каждому после отметки несколько слов напишет, поэтому долго у неё всё получалось. Отец возьмёт со стола какую-нибудь тетрадку, раскроет, прочтает какое-нибудь предложение, потрясёт вот так вот над столом этой тетрадкой: «Ну что ты, – говорит, – с каждым так возишься? Ну тут белиберда какая-то! „Пугачёв сказал Гринёву: я твой господин, целуй моя пятка. А Гринёв гордо отвечает: нет, ты не мой господин, не буду целовать твоя пятка“. Татарин какой-то! Ставь баранку и точка, и дальше пошла». А мама: «Олег, ты не прав, в том-то и дело, что он татарин, этот мальчик, ему же объяснить надо, иначе как в нём поддержать его желание учиться, читать, писать, грамотно изъясняться». Знаете, как её ученики любили. Когда она из школы ушла, пять классов пришли к нам домой уговаривать её вернуться. Два десятых, два девятых и один восьмой. Весь двор заполнили, а к нам на этаж от каждого класса по три человека поднялись.

– Надо же, – покачал головой Юрий Кириллович. – А почему она ушла-то?

– А директором школы одного молодого чудака поставили. Бандеровца. Он часы русской литературы и языка сократил. Из библиотеки школьной связками книги Шолохова, Фадеева, Горького, ну и другие выносили и куда-то увозили. Мама директора спрашивает: «Это на костёр что ли?» А он: «Цэ зараз для нас зарубижна литература, вона нам вже так нэ потрібна». Мама пыталась сначала воевать, но потом поняла, что у него наверху поддержка, и ушла. Точнее, это он ей предложил по собственному желанию, всё равно мы, говорит, с вами не сработаемся. Вы, говорит, иностранка, и преподавали иностранную литературу. Она нам, говорит, теперь не нужна, мы будем свою развивать и учить Франко, Котляревского, Лесю Украинку и незабвенного Тараса Григорьевича.

– Да-а, – вздохнул Юрий Кириллович. – Так вот мы вдруг стали в своей стране иностранцами. Враз двадцать пять миллионов объявили на родной земле чужаками. Мама у тебя русская была?

– Да нет. По отцу, по деду моему, украинка, по маме – полька. У меня и отец украинец был. Вообще, какая разница? Им-то что? У них украинцы – Петлюра и Бандера, да ещё Шусткевич вот...

– Да уж, – насупил брови Юрий Кириллович. – Допустили эту мразь управлять нашей жизнью. Я ещё когда в Киеве жил – а у меня первая жена-то киевлянка, там и дочь с ней моя осталась, я там после художественного института начинал, – так вот, в девяностые, проклятые, установили там на оперном театре мемориальную доску некому пану Орлику. Этот бандюга правая рука Бандеры был. Кровавая личность, фашистский прихвостень. Я ещё тогда думал: как же так? Была героиня-подпольщица Вера Окипная, в партизанской группе Ивана Кудри боролась с оккупантами. Она солистка была этого самого оперного театра, певица замечательная, и это было хорошее прикрытие для подпольной работы. Но фашисты их всё равно всех схватили, пытали страшно и расстреляли. Так вот Вере советская власть не удосужилась на театре мемориальную доску установить, а тут...

– Что ж вы не возмутились, не объявили голодовку? Подстелили бы картонку и сели бы возле театра.

– Понимаешь, у меня тогда первую персональную выставку организовывали. Я хотел поднять тогда вопрос в Союзе художников. И про этого Орлика, и про бюст Шевченко, который впёрли прямо на фасад. Торчит здоровая лысая башка вопреки всякому архитектурному стилю...

– Ну, я, когда маленький с отцом в Киеве был на экскурсии, видел. Сначала подумал, что это Ленин. Отец объяснил.

– Да уж, советская власть не догадалась там Ленина поставить, ставили же, где попало, и тут бы сошло. Может быть, поставили бы там, так эти новые бандеровские громилы разрушили бы именно его, а не уникальную скульптуру из красного гранита напротив Бессарабского рынка.

– Ну, вот и тут вы не подсказали, – усмехнулся Кирилл. – Серьёзные у вас тогда проблемы были, не то что у нас...

– А что?

– Ну что! Мать уволилась, у отца на шахте вечно задержки зарплаты – вот и соси лапу.

– Как же вы жили?

– Что-то бабушка из села привозила. У отца «запорожец» был – ездили к ней за картошкой. Мешки на багажник над крышей загрузим и вперёд. Однажды на повороте прутья багажника прогнулись, и крышу мешки эти помяли: металл-то... как консервная банка.

– Да уж, – усмехнулся Юрий Кириллович.

– Потом бабушка наша, мамина мама, вдруг заболела. Долго болела, мучилась. Сами знаете, чем в этой болезни поможешь? Мама надолго уезжала за бабушкой ухаживать, папа один с нами справлялся. А когда её сменяли сёстры и мама возвращалась домой, она усаживалась шить кукол, знаете, таких, чтоб на заварочный чайник сажать. Разные лоскутки, обрезки тканей ярких, вату ей приносила родительница одного её ученика. Она в ателье портнихой работала. Помню, мама сидит, шьёт и... плачет. Тихо так. Нитку в иголку никак вдёрнуть не может, меня просит. Эта же родительница потом готовых кукол забирала. Не знаю уж, продавала она их или как, но только она нам продукты приносила, целые такие пакеты объёмные. Отец хмурился, мать отказывалась, но куда денешься: жить-то как-то надо. Родительница эта пакеты с молоком, консервами, крупами разными молча оставит в прихожей и уйдёт. Галина Ивановна, кажется, её звали.

Кирилл перевернул и поставил свою чашку дном на блюдец и уставился на рисунок кофейной гущи. Сказал задумчиво:

– И зачем я это всё вам рассказываю. Я никому не рассказываю, а вы меня разговорили, будто в поезде попутчик.

– Ну и хорошо, – сочувственно улыбнулся Юрий Кириллович. – Так легче...

– А мне не надо легче, – вдруг резко возразил юноша. – Так расслабляешься, силу теряешь, а мне её набирать надо.

– Зачем? Ты и так вон какой сильный.

– Вы что думаете, я не вернусь туда?

– На Донбасс?

Кирилл кивнул.

– Сейчас? Зачем? Там же война...

– Правильно, война. Вот мне и надо на войне быть, а не болтаться здесь, как дерьмо в проруби. Там людей убивают, а я, думаете, буду, как все вы, спокойно тут дышать. Да у меня теперь гарь нашего дома до конца жизни будет в горле стоять.

Юрий Кириллович слушал и вдруг вспомнил, как каждый день, каждую минуту после гибели сына винил себя, что проглядел беду. И разве это можно оправдать своей погружённостью в творчество. Да в первый год ни кисть, ни карандаш в руки не мог взять, ни пластилин, ни глина не слушались. Будто потерял всё, разучился. Инфаркт на ногах перенёс. Да и вряд ли сам жить остался бы, коли бы не дочь да жена. Глядел он теперь на нового своего юного знакомого и думал: нет, в лепёшку разобьюсь, а парня этого спасу.

А Кирилл продолжал горячо:

– Я бы и тогда не уехал... просто со мной в тот момент что-то такое случилось... ну, короче, крыша поехала. Кто меня и как с нашего девятого этажа утащил, ничего не помнил. Всё как в бреду. Что-то соображать стал, когда возле моей больничной койки московская тётушка оказалась, мамина сестра. «Тётя Клава, говорю, ты откуда?» – «Забираю тебя, сынок, забираю из этого ада крошечного...»

Он опустил голову, вздохнул тяжело:

– Ну всё, я пойду.

– Ещё кофе? – растерялся Юрий Кириллович.

– Нет, спасибо, не надо, – Кирилл отодвинул от себя чашку. – Наговорил вам, как в поезде попутчику. Теперь разошлись и забыли.

– Ну почему же забыли?

– Да потому! – Кирилл поднялся из-за столика. – Всем здесь в Москве, и в Киеве, и везде десять раз наплевать, как нас там убивают. Что я вам, глаза открыл, что ли? Хотели бы знать – набрали бы в интернете «Новости Новороссии». Там всё есть про нашу войну. Про батальоны этих уродов-укропов-карателей. И про то, что они творили, когда в наши города заходили. Про то, как... Нет, всё! Ушёл я...

– Подожди, – встал и Юрий Кириллович. – Я же тебе работу предлагаю. Иначе как в Москве-то прожить. Тётушка твоя, тётя Клава, что, уже на пенсии?

– А я работаю. Что ж вы думаете, я у неё на шее сижу? Я по ночам на вокзале вагоны разгружаю, – он усмехнулся. – Видите, как накачался? Ну, а по выходным мы с тётей Клавой в храм ходим. Знаете, на Славянской площади церковь Всех Святых на Кулишках? Тётушка там регентом. Мы там на клиросе поём, – он усмехнулся. – У меня же какое ни на есть музыкальное образование. Ну, пусть самое начальное.

– Ну, вот видишь, тебе учиться надо.

– Чему?

– Музыке, пению, ну, то есть профессиональному вокалу.

– Пробовал.

– То есть?

– Да не хочу я об этом! Мне надо учиться воевать. Ладно, всё! Спасибо вам за кофе!

– И всё же, вот тебе адрес, – Юрий Кириллович выдернул из узкого высокого стакана посреди стола салфетку и вывел на ней печатными буквами адрес мастерской. – Надумаешь, приходи. Ты ведь, поди, в мастерской художника никогда не был? А ведь любая новая информация – это и есть наука. Кто-то из советских драматургов, кажется, Андрей Макаёнок, сказал: «Все беды человечества – от недостатка информации...»

– Возможно, – пожал плечами Кирилл. – Интересно, что бы он сейчас сказал? Наверное, все беды человечества – от человечества.

Глава II

Долго же они просидели в этом кафе, спрятавшись от жгучего солнца под большим серым полотняным зонтиком. Но вот светило устало палить и скатилось по раскалённым крышам, озарив золотистым ореолом венец сталинского ампира – шпиль со звездой в лавровом венке.

Уже по дороге к метро Юрий Кириллович пообещал помочь Кириллу поступить в Гнесинку на эстрадный вокал и добился от него в конце концов согласия позировать в боксёрских трусах и перчатках.

На следующий день парень уже стоял на подиуме.

– Знаете, я подумал, – сказал он, прежде чем направиться в указанное ему место за ширмой, чтобы раздеться, – это будет для меня хороший тренаж. Я и по городу-то тогда не только из-за жары в одних шортах шёл... Вы вот думаете, я такой накачанный-железобетонный, а я ведь, вообще-то, слабак. Стеснительный. Уверенности не хватает. У нас, когда в музыкальной школе концерты бывали, так я, как на сцену выходить, волнуясь жутко, поджилки дрожат, смычок сжимаю, чтоб не вылетел. Меня за это учительница всё время ругала. Не сжимай, говорит, смычок как булатный меч.

Новому своему демонстратору пластических поз – так высокопарно зовутся штатные натурщики в Суриковском – Юрий Кириллович не мог нарадоваться. Мало того что фигура покруче античных идеальных образцов, так ещё и выносливость у парня завидная. Работа шла споро, вдохновенно, иногда задерживались до поздней ночи, и мастеру приходилось через всю Москву доставлять Кирилла на квартиру его тётушки чуть ли не в четыре часа утра. Та возмущалась:

– Что ж это за работа такая, рабство неслыханное. Он у тебя рабовладелец!

– Ну, да, – парировал племянник, – римский патриций, а я у него верный раб. Он так и говорит, что я будто с античного портика сошёл.

– С ума он у тебя сошёл, – не унималась тётя Клава. – Надо же, так издеваться над парнем. Попробуй-ка, не спи вот так изо дня в день, и загнёшься как пить дать. Я-то ведь тоже не сплю, у меня-то откуда силы возьмутся: не девочка же.

Но вот, когда работа была успешно завершена и Кирилл явился со своим законным гоноаром – пачкой крупных купюр, перетянутой банковской лентой, тётушка Клавдия Ивановна, похоже, забыла о своём еженощном бдении, о своём системном ворчании – она просто онемела, уставившись на денежный кирпичик посреди стола. Потом тихо опустилась на стул, взглянула на Кирилла, вздохнула глубоко и молвила:

– А может, бог с ним, с твоим поступлением? Вот ведь есть достойная работа. Это сколько ж тут моих пенсий?

Ну а о том, как были довольны заказчики, и говорить нечего.

– Памятник даже лучше живого, – заявили братки-молодцы. – Сразу видно, чемпион, твою мать!

Мастер, автор «чемпиона», на скорую руку проверявший соответствие обусловленной договором суммы выложенным перед ним банковским пачкам, так и уткнулся в них носом, чтобы задавить защекотавший в гортани смешок.

Такой успех предприятия, конечно, укрепил решение Кирилла послужить прекрасной Минерве ещё какой-то неопределённый срок. Он уже вошёл во вкус, абсолютно не комплексовал и, с учётом его спортивной выносливости, позировал обнажённым при большой аудитории учеников Юрия Кирилловича, усердно готовившихся под строгим глазом мастера к поступлению в московские престижные вузы живописи, ваяния и зодчества. Да и что ж комплексовать, когда работа эта придавала ему чувство уверенности и самостоятельности, столь необходимые для более-менее сносного существования в столице. По условиям, установленным строгим учителем, без пяти минут абитуриенты по окончании каждого занятия скидывались, в зависимости от сложности постановки, заранее обговорёнными скромными суммами, из коих в результате складывалась совсем неплохая оплата натурщику за его нелёгкий труд. И каждый вечер, к нескрываемой радости тётушки, любимый племянник вручал ей стопку разномастных и, конечно, не слишком крупных дензнаков, предварительно отсчитав для себя ничтожную мелочёвку. И хотя Кирилл всегда был сдержан в отношениях со своим именитым благодетелем, не пел ему оды, не изрекал благодарственные тирады, однако всем своим учтивым поведением, а главное, своей пунктуальностью и неутомимостью, да просто трепетным отношением к делу старался показать, как много значит для него подаренная судьбой встреча с выдающимся художником.

В свою очередь и Юрию Кирилловичу не давало покоя обещание помочь парню с поступлением в Гнесинку, так легко брошенное при первой встрече. Оказалось, это совсем непросто. Даже с учётом всех званий и регалий именитого скульптора.

Прежде всего он позвонил Маргарите Лекасовой, некогда знаменитой певице, уже сошедшей с эстрады, но всё же то и дело мелькавшей на пикантных телешоу, где, по выражению Юрия Кирилловича, нестриженный, плохо выбритый и косноязычный ведущий провоцировал всех участников коллективно перестирывать чужое старое и часто весьма дурно пахнущее бельё. Был у него с ней некогда жаркий роман... Ну и что с того, что при любимой, согласно регистрационной записи о браке, жене? Скажите, а разве большой художник не имеет право содержать любовницу? Справедливее сказать: большой художник не имеет права не тратить на любовницу. Этот негласный закон был известен и супруге Юрия Кирилловича, достойной Елене Сергеевне. Она всё знала, а если не знала, то догадывалась, но скандалов принципиально не устраивала. А смысл? Что, разводиться? Ну вот ещё! Плебейский домострой. Да разве она проживёт за свою зарплату экскурсовода Третьяковки? Ну ладно! А дочь-студентка? А обеим пристойно одеться? А на косметику сколько? А маникюрный салон? А свой парикмахер, массажистка и стилист не хуже Юдашкина? А ежегодные вояжи в Европу в самые респектабельные отели? Да что говорить, пусть себе играет, если это ему, признанному мастеру, необходимо для творческого куража и работоспособности. Только бы вдохновенный труд приносил соответствующий доход. Так рассуждала Елена Сергеевна, не выказывая никогда раздражения, тем паче мещанской ревности, и стремясь поддерживать стабильно прохладный климат в доме, приличествующий почтенной супружеской чете. Её вполне устраивало, что с мужем они давно уже колесят по исключительно параллельным житейским рельсам. Узловыми станциями, на которые, как и полагается уважаемым представителям московской элиты, они изредка прибывали вдвоём, были великосветские скучные тусовки с обильными фуршетам. Вкус к такому поистине аристократическому сосуществованию супруги не утратили уже и после того, как Юрий Кириллович в результате громкого скандала расстался с певицей, время от времени требовавшей от него развода с экскурсоводом. Так требовательно миссис Лекасова и вопрошала: «Милый, не пора ли заняться разводом с экскурсоводом?»

– Милая Риточка! Меня этот развод до могилы доведёт, – отшучивался Юрий Кириллович.

И любовь, зародившаяся на весеннем вернисаже в галерее Церетели, по осени увяла, словно измечтавшаяся о влаге и забытая на подоконнике герань. Теперь Юрий Кириллович лишь случайно мог лицезреть свою бывшую пассию в отвратительных и унижительных, по его мнению, гламурных телешоу.

Вероятно, благодаря этому мельканию на телевизоре и, несомненно, новым более перспективным эротическим связям, её и пригласили преподавать в Гнесинское музучилище. В связи с этим мастер и вспомнил о своей Маргарите. Долго искал её телефон, пока не сообразил, что после разрыва уничтожил все контакты. Слава богу, удалось выяснить её новый мобильник у оставшихся общих друзей.

– Рита, здравствуй... – начал он несмело.

– О-о, чей там голос из могилы? – сразу узнала его Маргарита. – Чем обязана, сударь?

– Как ты понимаешь, я звоню по делу. По серьёзному делу...

– Да как не понимать, иначе и быть не может. До сих пор тебя не интересовало, как я живу, точнее, чем живу, как выживаю. Как же это всё несерьёзно. А вот сейчас у тебя вдруг серьёзное дело подвернулось. И понятно: я же теперь декан, профессор...

– Послушай, Маргарита, – перебил знакомку Юрий Кириллович. – Надо помочь одному талантливому молодому человеку. Очень талантливому!

– Понимаю. Иначе мир лишится нового Паваротти! – с наигранным пафосом поддержала мастера Маргарита.

– Рита, я серьёзно. Решился вот тебя побеспокоить. Кабы пустяк...

– Вот то-то и оно, Юра, что это не пустяк. И я по благу никого к родному училищу на пушечный выстрел не подпущу.

– Почему же по благу? Я же говорю о настоящем таланте. Просто самородок!..

– Ну и не плачь, Юрик, пробьётся...

– Твоего же Петрушу я в Суриковское устроил.

– У меня сынуля всегда блистал талантами. Он в отца. А твой этот молодой человек в кого? Или ты, Юрик, уже на мальчиков переключился? Возраст сказывается или следуешь современным европейским веяниям?

– Ох, и дура же ты! – сорвался Юрий Кириллович. – Непробиваемая дура!

– Успокойся, милый, – самодовольно рассмеялась Маргарита. – Дура душой, однако, как в том анекдоте про мартышку, деканство и профессорское звание имею. Это, Юрик, я для тебя вдруг душой стала, а для других очень даже умная и, главное, вполне ещё сексуальная. Ну, для тех, конечно, кто на мальчиков не западает.

– Дура! Вульгарная, пошлая дура!

Она расхохоталась и отключила мобильник.

Господи, как же по-иезуитски мстительна бывает женщина по отношению к отвернувшемуся от неё мужчине. Лучше навеки забыть и не трогать, иначе её ущемлённое самолюбие разбудит в ней такую фантастическую энергию для нагромождения дьявольских козней, что ни спрятаться тебе, ни скрыться. А подчас и знать не будешь, откуда потоки грязи текут. Всё! Забыть, забыть, забыть! Это было давно и неправда.

И тут вдруг Просекин вспомнил о Лилии Петровне. Вдова известнейшего кинокомпозитора, классика советской песни, чьи кинематографические шлягеры стали поистине народными и, значит, бессмертными, Лилия Петровна как музыкальный критик, несмотря на свой солидный возраст, слыла неутомимой труженицей, человеком никогда не унывающим, чутким, тонко чувствующим, обладающим бескомпромиссной профессиональной требовательностью. Благодаря её заботам и недюжинным организаторским способностям, имя её гениального мужа каждый раз в очередную годовщину со дня его рождения возникало крупными

буквами на афишах Центрального дома учёных, и большой звёздный концерт проходил при полном аншлаге. Отрадно, что она не гналась за навязшими именами, часто приглашая участвовать в таком концерте памяти Анатолия Журавлёва малоизвестных начинающих исполнителей. Собственно, и денег-то ей удавалось достать ровно столько, чтобы оплатить аренду зала, остальное всё и все – на энтузиазме и любви. И связей-то особых уже не было. Новая постперестроечная власть постаралась отринуть всё советское, да только не сдалась всё же народная любовь. Вот уж поистине «нашу песню не задушишь, не убьёшь». Она может не звучать долгие годы в проплаченном медиапространстве, но, как соберутся люди за праздничным столом, в столице или самой глухой провинции, опрокинут рюмочку, другую, и затянут её, привольную-раздольную и родную, где и мелодия-то та, что душу выворачивает, и стих мудрый, отрезвляющий. Посему и не напивались с такой песней, как правило. Так про себя рассуждая, Юрий Кириллович отыскал телефон Лилии Петровны и договорился о встрече. Надо сказать, что почувствовал он некоторую неловкость, когда только пошёл зуммер: за много лет не вспомнил, не позвонил, не поздравил с праздником, а с тех пор как в последний раз на её концерте побывал, воды утекло море океанское. Она поначалу всё звонила, приглашала, но так как он, обещая каждый раз, всё же не являлся, опутанный-перепутанный своими делами, то и она перестала беспокоить своими приглашениями.

Лилия Петровна откликнулась очень доброжелательно и с ходу зазвала к себе в гости.

– Я хотел посоветоваться... – смущённо промямлил академик Просекин.

– Ну вот и приезжай, – весело настаивала Лилия Петровна. – Постой, это ж ты когда у меня в последний раз был-то? Да, пожалуй, как Толя мой ушёл, и не был ни разу. Эх ты! А ведь частенько бывал, когда вы с ним на Мосфильме-то вместе тот фильм-то делали. Фильм-то так себе получился, но Толина музыка!.. Одна песня чего стоит. А режиссёр-то этот жив ли? Постой, как его?..

– Дубовской, – подсказал Юрий Кириллович.

– Да-да, именно, – ещё громче затараторила в трубку Лилия Петровна. – Я помню-помню, что с деревом что-то связано. Ну, будет нам по телефону-то. Приходи прямо завтра к обеду. Устроит тебя?

– Спасибо, Лилия Петровна!

– Ну и чудненько! Давай! Жду!

Продолжение следует

Михаил ТАРКОВСКИЙ



О Соловьёве

Геннадий Соловьёв – охотник-промысловик.

Родился в 1949 году в Боготоле Красноярского края. В ранней юности, коснувшись охотничьего мира, не мыслил себя без тайги и после армии уехал в Туруханский район, жил в селе Ворогово и других, пока не переехал в Бахту, где и живёт по сию пору. Будучи хорошим рассказчиком и обладая наставническими способностями, всегда был головой и душой нашего промыслового коллектива. Когда я задумал снимать фильм о героях своих рассказов, то Геннадий Викторович не только обсуждал и продумывал со мной содержание будущего фильма, но и согласился сниматься, причём не оттого, что желал как-то выпятить свою персону и порисоваться с экрана. Нет. Тем более охотники сторонятся подобной публичности. Но с Геннадием Викторовичем случай особый – он согласился стать главным героем фильма о промысле, так как знал, что никто лучше него не расскажет. (Речь идёт о фильме, вышедшем под названием «Счастливые люди».) Прошло более десяти лет – и вдруг появились рассказы, один из которых мы и предлагаем читателю.

Геннадий СОЛОВЬЕВ



Выпить на промысле – дело святое, но опасное...

Пьянству бой!

Если смотреть долго, не отрываясь, на небо, то кажется, что это не ветер гонит облака, а ты сам куда-то несёшься в неведомую даль, со страшной скоростью уносишься от родных мест, и ничто не в силах остановить этот сумасшедший полёт, от которого замирает сердце.

На обрывистом глиняном берегу Енисея, поросшем невысокой травой, стояла одинокая фигура человека с непокрытой головой, хотя осенняя верховка была жгуче-холодная, и сильные порывы гнали частую волну с белыми гребешками. Он, туго запахнув старый солдатский бушлат, стоял без единого движения, не отрываясь смотрел на беспорядочно бегущие облака или опускал взгляд на набравшую уже осенней свинцовой тяжести енисейную воду. Спроси в деревне про Иннокентия Константиновича Коротких, сперва будут уточняющие вопросы, потом ответят, а спроси, как найти Кешку остяка, и никаких вопросов – все сразу понимают, о ком речь. Много лет назад, когда Иннокентий ходил в школу-интернат, в его классе было два ученика с одинаковыми именами, и, чтобы не путать, они стали называться с приставками: русский белобрысый мальчик – Кешка белый, а нашего героя окрестили Кешка остяк. Сейчас и его можно смело назвать Кешка белый: в его нестриженной густой шевелюре не было видно ни одного чёрного волоса. Из-за небольшого роста и сухости телосложения голова казалась несоразмерно большой, делая его похожим на гигантский одуванчик. Казалось, что налетит сейчас порыв ветра сильнее, и осыплется это серебро. Налетал порыв, который чуть шевелил живую шапку из волос Иннокентия. Было непонятно, любитесь этот человек осенней природой или кого-то ждёт, а может, и вообще, стоит бездумно, не зная, чем себя занять.

Со стороны деревни к реке шёл плотный мужик небольшого роста. Хоть он был без бороды, но по мятому лицу определить, сколько ему лет, было трудно, а давно не стиранная энцефалитка делала его похожим на запившего экспедишника. Заметив Иннокентия, он отправился в его сторону. Подойдя, молча закурил. Потом, глядя на паривших против ветра чашек, спросил: «Болит?» Кешка чуть кивнул головой. «Всё пропили?» – опять еле заметный кивок согласия. «Дааа... – протянул осуждающе человек. – Говорил ведь я тебе, давай сразу отоваримся на промысел, а ты: потом, мол, деньги на товарку отложил отдельно. А я чувствовал,

что так всё и закончится». Он зло метнул окурок под берег. Кешка стоял молча. Его смуглое лицо оставалось безучастным. Подошедший опять стал закуривать. Это был Анатолий, Кешкин напарник по охоте и рыбалке. Человек этот помотался на Севере по экспедициям. На словах имел кучу профессий, на деле не знал ни одной в совершенстве. Так – всё поверхностно. В посёлке одно время стояла геологическая экспедиция, в которой работал Анатолий. Потом она уехала, а ему понравился этот тихий таёжный посёлок, и он остался. Анатолий тоже любил выпить, особенно на халяву, но головы никогда не терял. Жизнь научила его быть расчётливым, и, какая бы пьянка не завязалась, он никогда не пропивал все деньги.

Тайга вокруг посёлка, особенно по берегам Енисея, давно была распределена между местными жителями, и приезжему человеку почти невозможно найти участок тайги, чтобы начать охотиться. Устроившись кочегаром в школьную котельную, он потихоньку прощупывал почву среди охотников, чтобы его взяли напарником, но везде получал отказ. На близлежащие уголья хватало своих желающих. Матёрые охотники, которые уходили в дальние уголья на месяцы, сразу говорили: «Нет, мы привыкли одни, нам хватает общества собак». Неизвестно, остался бы Анатолий и дальше жить в деревне, если бы весной пьяный Кешкин напарник не вывалился из ветки и, запутавшись в собственной рыболовной сети, захлебнулся. Подружившись с бесхитростным Иннокентием и выручая его на похмелье, он достиг своей цели. Кешка дал согласие взять его напарником на свои родовые уголья, расположенные по обоим берегам Енисея ниже деревни километров тридцать.

Прошло несколько лет. Они привыкли друг к другу. Анатолий не борзел и не старался ухватить побольше долю от рыбалки и охоты и частенько выручал пропившегося Кешку деньгами. Оба они были несемейные и добывали почти одинаково, но у Кешки как не было мотора и лодки, так и не стало. Анатолий же потихоньку приобрёл старые моторы и лодку. В технике он разбирался, и это старьё стало служить ему исправно. Получилось так, что безлошадный Иннокентий стал зависим от своего напарника. Заброска, бензин и отоварка продуктами легла на плечи Анатолия. Продавая рыбу на проплывавшие самоходки, он завязал знакомства с работавшими на них людьми и стал готовить рыбу уже под заказ. Не ждал, как Кешка, случайных покупателей, которые иногда появлялись в деревне. В конце концов их рыбный бизнес перешёл под управление Анатолия. Это устраивало обоих. Кешка, как коренной житель из малочисленных народов Севера, имел льготы на рыбалку и охоту, и Анатолий, как напарник, тоже к ним пристроился. Бесхитростный кето (*кеты* – малочисленный коренной народ Сибири, живущий на севере Красноярского края. – *Примеч. ред.*) торговать не умел, и у него уходило всё за бесценок. Совсем по-другому пошла торговля, когда за неё взялся прошедший огонь и воду повидавший жизнь Анатолий, но получаемые Кешкой от своих трудов деньги ему впрок не шли – всё пропивалось, и не столько он выпивал сам, сколько лилась она родимая в чужие ненасытные глотки. Анатолию давно это надоело, и относился он к Иннокентию, как к чемодану без ручки – нести неудобно и бросить нельзя, без Кешки он был пришлый – никто.

Отоварившись на Анатолины деньги, они выехали на участок. Анатолий подрядился наловить рыбы на самоходку, которая заберёт её последним рейсом. Грузёный «Прогресс-4» потихоньку шёл вниз по течению недалёко от берега. Птица уже вылетала на галечник, и они надеялись что-нибудь добыть. Грузёная лодка чутко реагировала на перемещение груза. Собакам было на это наплевать. Они нервно ловили утренние запахи и возбуждённо перебежали с борта на борт, раскачивая этим лодку. Осень, пробуя свои краски, только чуть-чуть мазнула по осинникам и березнякам слабым цветом, а заморозки уже тут. И намёрзший иней на пожухлой траве, и над водой разбросанный клочками туман, который создавал обманное впечатление, что это пар от тёплой воды, и брызги, попадавшие на лицо, обжигали холодом.

Ровно работает мотор на средних оборотах, толкает грузёную лодку, которая создаёт сильную волну, и та с одной стороны лодки с белыми гребнями уходит на просторы реки и там постепенно затихает на широкой груди Енисея, а с другой стороны, встречая на своём пути

берег, недовольно бьётся в него и от негодования брызжет пеной, что он остановил её бег. За утро видели пару глухарей, но собаки своей суетой и лаем их спугнули, так что к избушке подъехали без добычи. Сбавив обороты мотора, Анатолий осторожно подводил тяжёлую лодку к берегу. Нетерпеливые собаки, насидевшись в деревне на цепи, не дождавшись попрыгали в воду и тащились за бортом, хлебая воду, на привязках, веселя Анатолия, который, смеясь, приговаривал: «Что совсем нух потеряли? Вспоминайте таёжную науку».

Изба стояла к Енисею боком, смотря на его просторы большим окном с переплётами, застеклённое стеклом, а не обитое мутным целлофаном, как во многих таёжных зимовьях. Отпустив собак с привязки и оттащив на галечную косу лодку, сразу пошли осмотреть зимовье. Среди высокой травы и густого тальника выделялась набитая тропа, показывая, что гости здесь были нередки. Возле избы чернело большое кострище, заваленное обгоревшими жестяными банками. Двери были распахнуты настежь, и на пороге белел вырванной ватой полосатый матрац. В зимовье был бардак. Вся посуда и оставленная одежда валялись на полу, загаженные мышами. «Странно, что окно целое. У них это просто болезнь ломать окна», – сказал Кешка, показывая на белые полосы от медвежьих когтей на стене. Собаки, шарясь по кустам, выкапывали протухшие стерляжки головы. Было ясно, что здесь долго жили рыбаки-браконьеры, и что после их отъезда на запах от отходов пришёл медведь. «Его и винить-то нечего, – проговорил Иннокентий. – Странно было бы, если бы он не пришёл. Спасибо, что окно не тронул». Анатолий более бурно реагировал на всё это, подкрепляя своё негодование крепкими матами и не очень хорошими пожеланиями бывшим гостям. Весь остаток дня ушёл на уборку мусора в избушке и вокруг неё и на перетаскивание продуктов на лабаз из лодки. Вечером, когда ужинали, Анатолий достал двухлитровую банку со спиртом, немного отлил отметить заезд на промысел и, глядя в заблестевшие Кешкины глаза, сказал: «Не раскатывай губы. Это нам до декабря». – «Да-да, до декабря», – эхом повторил Иннокентий, кивая своей белой головой в знак согласия. Под утро заволокло залаяли собаки. Когда Анатолий вышел на улицу, они дружно добежали до ближайших кустов и на этом их смелый бросок закончился. Только старый Кешкин кобель Варнак убежал в тайгу, и было слышно, как его хриплый лай перемещается вслед за зверем. «Наверное, хозяин приходил, – сказал вошедшему Анатолию Кешка. – Не всё, видать, выкопал захоронки рыбаков. Теперь не придёт – напугали». «Ну и хрен с ним! – ответил Анатолий – Кстати, ты свой новый карабин пристрелял?» Иннокентий как коренной северный житель получил новый десятизарядный карабин СКС (самозарядный карабин Симонova. – *Примеч. ред.*). «Нет, потом пристреляю», – ответил тот. «У тебя всё на потом, – отчего-то раздражаясь ответил Анатолий. – А потом может и не быть. Всё надо делать вовремя», – закончил он. Сон был перебит, и они стали потихоньку собираться. Сегодня у них по плану была постройка сетей и заготовка дров из плавняка, который Енисей-батюшка щедро распищал по берегам. Утро было пасмурное, обещая дождь, не тот летний, короткий и шумный, после которого снова заиграет и польёт своё живительное тепло солнышко и весь растительный мир оживёт, распространяя запах свежести, где каждая ветка или цветок вносит тонкую струйку своего запаха, создавая неповторимый букет, и воздух становится прозрачней, голубое небо кажется вымытым, а у далёких таёжных хребтов яснее и резче очерчиваются контуры, но долгий морозящий, весь день напывающий всё что можно прелой сыростью и крася в унылый серый цвет таёжный пейзаж. Погода стояла спокойная, и енисейная ширь казалась большим выпуклым озером, которое упиралось с двух сторон в поросшие тёмным лесом хребты.

Семь сетей поставили быстро, и, когда ехали обратно, под большой каргой увидели утонувшие наплава своей поставленной сетки. Попались язь со щукой, а в конец сети, которая хватала течение, попала крупная, килограммов на пять стерлядка. Рыбаки обрадовались – есть и собакам, и им добрый приварок. Оставшиеся собаки радостно прыгали по берегу, встречая хозяев. Только Варнак, познавший жизнь, сидел в стороне спокойно. Он давно понял, что собачьи восторги хозяева частенько не разделяют, а встречают пинком, чтобы не крутились под

ногами. Анатолий взялся готовить обед. Иннокентий же пошёл с топором по берегу поискать подходящих брёвен для дров и расчистить к ним подходы. Собаки побежали с ним. Мудрый Варнак, видя, что хозяин без ружья, покорно поплёлся за ним просто за компанию. Молодые от избытка сил и воли гонялись за всем, что движется. Пройдя метров двести самой кромкой у воды, где берег был галечный и очищен весенней водой, у подножия леса он увидел торчащие торцы плавника, заваленного весенним наносным хламом. Продравшись к ним через невысокие, но густые заросли тальника, переплетённые полёгшей травой, он постучал обухом топора по брёвнам. Звук был звонкий, значит, не гнильё и просохли. Не спеша стал очищать место для распиловки дров. Весной сюда принесло сушину с корнями, она зацепилась за кусты и встала, как на якоре. К ней набило много ерунды и несколько приличных брёвен. В самом конце, подрубив кусты, он оттащил в сторону целые пласты из переплетённых веток и травы. Вернувшись на это место, он рассмотрел засыпанную мелкой рухлядью двухсотлитровую синюю бочку. Постучал – бочка была полная. Осмотрел пробку – она была герметично закручена. Тут закричал Анатолий, что обед готов и что пора возвращаться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.